

**БОРИС
АКУНИН**



**ОРЕХОВЫЙ
БУДДА**

**ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА**



**БОРИС
АКУНИН**

**ОРЕХОВЫЙ
БУДДА**



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
А44

*Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.*

Серия
«История Российского государства»
издается с 2013 года

Оформление переплета — *Е. Фerez*

Научный консультант — *М. Черейский*

Иллюстрации — *И. Сакуров*
Заставки и концовки — *М. Душин*

Акунин, Борис.
А44 Ореховый Будда: [роман]. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 320 с.: ил. — (История Российского государства).

ISBN 978-5-17-118287-8

Роман «Ореховый Будда» описывает приключения священной статуэтки, которая по воле случая совершила длинное путешествие из далекой Японии в не менее далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной петровскими потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти дорогу к себе...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© В. Akunin, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Часть первая
ПОТЕРЯТЬ



МАРТА «ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ»

Амстердам. 1698 г.

Был у Марты когда-то клиент, пушкарь с остиндского барка. Так, ничего интересного, обычный кобель из тех, кого портовые шлюхи называют «недельными господами», потому что, вернувшись в порт, моряки широко гуляют и спускают все свое многомесячное жалованье за неделю. Единственно, пушкарь был остёр на язык и дал подружке прозвище, которое прилипло: Крюйткамера. Во-первых, из-за волос, похожих на языки яркого пламени, — таких же зазорно-оранжевых, как королевское знамя. Марта любила сооружать замысловатые прически: будто у нее на голове костер или ворох осенних листьев. А во-вторых, из-за темперамента. Так-то она была тихая, вся в себе, но если в глубоко упрямую душу попадет искра — взрывалась так, что себя не помнила и о последствиях не думала. Редко, но случалось.

Вот и сейчас рвануло — когда Свинячья Морда ляпнул про Шпинхаус и Насосный Подвал. Полыхнуло в груди, потемнело в глазах — и каак шандарахнет!

Это потому что Марта уже пришла к гаду сама не своя, с мокрыми глазами и в тряске.

Пила дома кофе, думала про Родье, а тут от него записка из гостиницы «Кабанья голова», где живут русские. Мальчишка-рассыльный принес. Марта улыбнулась, развернула, стала читать — чашка полетела на пол.

Родье сообщал, что Царь-Петер уплывает в Англию, берет с собою очень немногих, в том числе и его. Это великая честь, только горько расставаться с меффрау Крюйткамер (он думал, у нее такая фамилия). Сам он за предотъездными хлопотами отлучиться из гостиницы не может, но будет счастлив, если благородная госпожа найдет время сделать ему прощальный визит, а он сказал бы ей нечто очень важное.

Не обращая внимания на забрызганное горячей кориценовой жидкостью платье (хотя оно, красивое и дорогое, было безнадежно испорчено), Марта сидела и редела, как последняя дура. Она, конечно, знала, что однажды все закончится, но старалась об этом не думать, как люди живут себе и не думают о неизбежной смерти. А та в конце концов обязательно приходит.

Три с половиной месяца Марта будто по облакам порхала, почти не касаясь грязной земли. «Почти» — потому что служба есть служба и к Свинячьей Морде по воскресеньям таскаться все же приходилось, но это ладно.

В своей жизненной карьере Марта достигла хорошего положения, ей многие завидовали. Довольно вспомнить, с чего начинала. Как ее, четырнадцатилетнюю деревенскую простушку, выгнали из служанок взащей с растущим пузом; как чуть не подохла от вытравленного плода; как потом зарабатывала на кусок хлеба по портовым притонам и мечтала о незаплатанной юбке. А теперь? Поднялась до *салет-йофер*, «са-



лонной барышни», которая чисто живет, модно одевается и имеет солидного покровителя.

И что после того случая не может понести — тоже удобство. Само собой, иногда бывает страшно, что лет через пять состаришься и будешь доживать одна-одиношенька, никому не нужная, однако это когда еще будет, и к тому же Марта, в отличие от других куриц-баб, умела копить деньги, а херр Ван Ауторн (Свинячьей Мордой она называла его только когда злилась) научил вкладывать их в облигации Ост-Индской компании. Триста сорок гульденов уже трудятся там, приносят восемнадцать процентов годовых. А будет больше.

В общем-то повезло с покровителем, грех жаловаться. Старая подруга Фимке по прозвищу Фрисеку,

Фризская Корова, сильно Марту ревновала. Фимке была в хорошем теле (потому и «корова»), но покоровьи же и тупая, да еще с неистребимым северным говором (потому и «фризская»). Когда-то они вместе работали в *музико*, музыкальном салоне, где мужчины танцуют с красивыми девушками, а при желании ведут их наверх, но с тех пор пути у товаров разошлись. Марта пошла вверх — попала на содержание к господину Ван Ауторну, а Фимке Фрисеку в салоне не удержалась, скатилась в «трактирные». Очень из-за этого переживала и дулась на Марту, будто та виновата.

А прошлой осенью, в конце сентября, вдруг появилась гордая, в новом чепце с лентами, и говорит: «Ты всего лишь содержанка у одного из шестидесяти *бевиндхебберов* Компании, а я любовница московитского императора Царь-Петера! Гляди, какой чепец я себе купила, шелковый! И это только начало». Оказалось, что в своем шпилхаузене, где пьют после работы мастера с верфи, она попала на глаза полоумному русскому королю, про которого тогда судачил весь Амстердам, и царь прельстился ее коровьими статьями.

Марта, конечно, говорит: «Врешь!». Но Фимке ей: «А хочешь, покажу тебе моего Петера? Он и его свита каждый вечер у нас в “Якоре” сидят».

Разумеется, Марта видала русского царя и прежде, когда он еще только перебрался из Заандама в оостенбургские доки. Тогда все ходили поглазеть на этакое диво: помазанник божий, властитель пусть дикарской, но великой державы работает на корабельной верфи плотником!

Ну, посмотрела. Несуразно тощий парень с неестественно узким телом и маленькой головкой, с длиннющими ногами и крошечными ступнями суетился, бегал,

брался то за одно дело, то за другое и ничего не доводил до конца. Будь это обычный человек, такого плотника давно выгнали бы взащей.

В другой раз видела, как царь ставит мачту на боепоре (говорили, какой-то хитрец слупил с москвиты за маленькую лодку двести гульденов) и неловко маневрирует под ветром близ Восточных островов. Все смеялись: не король, а бедный лодочник, и страна у него, должно быть, такая же нищая.

Но это было до того, как царь подарил городу Амстердаму великолепный фейерверк, а потом Марта видела из толпы на площади Дам пышный поезд русских послов, следовавший в ратушу. Ах, какие у них были наряды — сплошь золотая и серебряная парча! А драгоценные сабли! А лошади с упряжью в самоцветах!

И все стали говорить, что Царь-Петер — как калиф из арабской сказки. Такой богатый, что ему незачем пускать пыль в глаза. Потом люди привыкли и только хвастались приезжим: «А у нас на Оостенбургском канале русский царь плотником работает. Хотите посмотреть?»

Но одно дело пялиться издали, и совсем другое — поглядеть на августейшую особу вблизи.

«Ой, пойдем, пойдем, ну пожалуйста!» — стала Марта упрашивать. Корова немного покобенилась и взяла. Понятно почему: хотела показать русским, какая нарядная у нее подруга, настоящая *dame*.

По дороге Марта расспросила про постельные повадки московитского короля. «А, ничего особенного. Обычный торопыга, — сказала Фимке. — Помнишь Клауса Гессенца? Такой же. Кидается, чуть не зубами грызет, а через минуту уже храпит. Да какая разница? Зато я теперь августейшая *мэтрессе*. Видишь синяки на шее? Это след пальцев царского величества».

Марта слушала, люто завидовала. Думала: увести Царь-Петера у Фимке будет нетрудно. Достаточно ему увидеть их рядом, ее и Корову. Разоделась Марта во все самое лучшее: платье китайского шелка в розово-черную полоску (очень бонтонное, безо всякой крикливости), переливчатая муслиновая шаль, сатиновые башмачки, куафюра «раскрытый апельсин» и почти никакой косметики — это чтоб отличаться от размалеванной Фимке. Корова сказала: «Ты моя молочная сестра, поняла?»

Таверна «Якорь» была самая простецкая. Посетители здесь пили пиво, а ели *белехте-бротье* — срезали с окороков, что свисали прямо с потолка, ломти ветчины да клали на хлеб с маслом, обычная жратва для работяг с верфей. Но угловой стол, к которому Фимке повела подругу, был весь уставлен бутылками и снедью. Из большого горшка несло чесночищем, там желтел густой гороховый суп, на блюде дымились жареная свинина с черносливом, на другом — рубленый язык, да полголовы сыра, да кровяная колбаса, еще дыня, виноград, засахаренные фрукты. А компания, угощавшаяся всеми этими яствами, по виду и платью ничем не отличалась от тех, что сидели за другими столами. Заляпанные смолой и дегтем куртки, засученные рукава, дымящие глиняные трубки. Поглядеть — и не догадаешься, что московиты. Ни меховых шапок, ни кафтанов с золотыми шнурами, какие Марта видела у царских послов. Не было и их долговязого короля. Сидели четверо каких-то парней, все молодые.

— Оо, Фимка! — заорал один, разбитной, с подкрученными усами и звонко шлепнул Корову по задку. — Давай, садись к нам!

Похоже, королевская *мэтрессе* особенным почтением тут не пользуется, насмешливо подумала Марта.

Покосившись на нее, Фимке спросила:

— А где Петер?

— Черт знает. Может, придет. Может, нет.

Русский говорил по-голландски нечисто, но бойко.

— Это мефрау Крюйткамер, моя подруга. Приличная девушка, из хорошей семьи. Моя матушка была у нее кормилицей.

Развязного звали Александр и потом что-то шипящее. Он был старший адъютант Царь-Петера. Остальные трое просто адъютанты. По-русски — *denstchik*. Все худо-бедно объяснялись на голландском.

Веселый старший адъютант Марте не понравился. Знала она таких ушлых, на них не разживешься. Норовят попользоваться девушкой и не заплатить. Еще двое были квелые от выпитого, некрасивые и неинтересные. Но на последнего, совсем молоденького, тихого, славного хотелось смотреть все время. Хорошенький, как китайская фарфоровая кукла! Китайская — потому что глаза немножко раскосые. Волосы до плеч черные, гладкие, на верхней губе пушок, посередине лба чудесная мушка (а может, родинка) и дивные сахарные зубы. Уставился на Марту, будто на чудо какое, она ему улыбнулась — зарделся.

Ужасно он ей понравился. На других русских был совсем не похож. Вообще не похож ни на кого, кого она видела в своей жизни.

Царь-Петер в «Якорь» так и не пришел, но Марта о том не пожалела. Всё любовалась на Родье (так его называли остальные — Rodje или Rodjka) и сердилась, когда наглый Александр над мальчиком потешался: то огрызком кинет, то струю дыма в лицо пустит. «У нас в приличном обществе так себя не ведут, — строго сказала Марта, помня, что она барышня из хорошей се-

мы. — Стыдитесь, минхер». Нахал немного притих, а красавчик посмотрел на заступницу с благодарностью, от которой стало тепло на сердце.

Так у них с Родье и началось. В следующий раз они встретились уже вдвоем.

Скоро Марта всё о нем знала.

Что ему девятнадцать лет. Что полностью зовут его Rodion Tryokhglasoff. Отец у него большой человек, лейтенант-колонел (по-русски polupolkownik) регимента русских мушкетеров «Strieltsi», охраняющего царский замок Krieml. Называется регимент «Striemyannoï Polk», туда берут только высоких, статных красавцев, они носят красные мундиры и вооружены посеребренными алебардами. На ответственную и почетную должность Трехглазов-старший попал в благодарность за то, что спас его величество во время опасного заговора. Вот из какой важной семьи был Родье!

И в адъютанты к самому государю он попал тоже по промыслу своего высокочтимого родителя. Зная, что Царь-Петер любит корабельное дело и всё голландское, мудрый отец велел сыну выучить язык Нижних Провинций, а еще — ловко лазить по деревьям. Потом привез мальчика на озеро, где его величество строил парусные суда. Король увидел, как быстро Родье карабкается на мачты, как живо он говорит на голландском, крепко расцеловал (великая честь!) и зачислил в штат своих *denstchik*. Адъютантов у русского государя много, двадцать человек, но в европейский вояж он взял с собой только четверых, и один из них — Родье. Понятно, что по возвращении юношу ожидает блестящая придворная



карьера. Но больше всего Марте понравилось, что он веселый, а в то же время застенчивый и какой-то неиспорченный. Водки не пил, похабностей не говорил, по девкам не таскался и вел себя с «мефрау Крюйткамер» как учтивый кавалер с благородной дамой. Она, правда, такую из себя и изображала. Наврала, что покойный батюшка был морской капитан и оставил сироте некоторое состояние. А тому, что приличная девица разгуливает одна и принимает ухаживания, Родье не удивлялся — знал, что в Амстердаме женщины живут свободно, не как в других местах. На то он и Амстердам, самый вольный, самый богатый, самый легкий город на свете. Где еще дамы и барышни могут сидеть в кофейне со знакомыми мужчинами, не опасаясь за свою репутацию?

Конечно, могла бы проболтаться Фимке, но с нею Марте повезло. Вскоре после того вечера в таверне, чуть ли не назавтра, Царь-Петер прогнал от себя глупую Корову пинками под зад, на потеху зевакам. Все стали дразнить бедную дуру «Цариной», шутить, что зад у нее теперь дворянский, и Фимке не выдержала насмешек, сбежала из Амстердама в свою фризскую глушь, туда ей и дорога. Никто не мешал Марте играть в другую жизнь, красивую и чистую, какой в своем треклятом лахудринском существовании она никогда не видывала.

Мечтать-то Марта всегда любила, с раннего детства. Будто она — не она, а потерявшаяся принцесса, и вот ее находят, и везут во дворец, а там все ей рады, кланяются, наряжают и угощают. Взрослой мечтала, что в нее влюбится некий богатый, прекрасный собой господин, который всё ей простит и увезет в дальние, чудесные края, где никто не слыхивал прозвища «Пороховой Погреб».

Почти то же самое теперь происходило наяву. Юному кавалеру Марта сказала, что ей недавно сравнялось восемнадцать, и он поверил. Потому что у них в России (однажды зашел об этом разговор) женщины к двадцати пяти годам от злых морозов и чрезмерной косметики делаются пожилыми, тучными и водянистыми. Марте было больше, но она смеялась, восклицала: «Ах, двадцать пять — это еще так нескоро!».

Встречаясь, они проводили время очень пристойно. Гуляли вдоль нарядного Господского канала (но вдали от дома Свинячьей Морды). Пили шоколад и сладкий кофе с корицей и имбирем. В *tabakje* курили из длинных трубок ароматный, щекотный табак. Качались на качелях. Плавали на лодке по широкой бухте Эй, где

стоят на якоре огромные, как форты, корабли, а на берегу машут крыльями высоченные мельницы.

Иногда Родье водил ее в гости к *фадеру* Иоанну, немцу ученому посольскому *пристеру*, который в Москве пастырствовал над иноземцами, перешедшими в русскую веру, и потому знал голландский. Марта там шла себя скромно и чинно, руки целомудренно держала на коленях, помалкивала. Но наедине с Родье говорила много и охотно, потому что он слушал ее разинув рот, с восхищением. Рассказывала ему всякие морские истории, якобы случившиеся с ее покойным папашей. На самом-то деле все эти были и небылицы ей в прежние времена наплели клиенты-матросы.

К мужчинам Марта всегда относилась как к бодливым козам: рогами тыкайся, а молоко давай, да побольше. Но с Родье ей ничего такого и в голову не приходило. По временам прямо до нестерпимости хотелось обнять его, зацеловать до распухших губ, уволочь в спальню и сожрать, как персик или сочное яблоко. Но держала себя в руках, боялась испортить сказку. Кроватных-то забав она много повидала, экзотики не видаль. А чтобы вот так, с трепетом в груди и жаром на щеках, и каждое прикосновение ожогом — никогда с ней подобного не бывало. Родье же умел только краснеть, да хлопать длинными ресницами. И откуда он только такой марципановый взялся? Наверно, от строгой матери. Он рассказывал, она из далекой Сибири, древнего якутского племени, самая мудрая женщина на свете.

Позавчера Марта все-таки не убереглась. Учила его кататься на коньках, он все время падал, хохотал и так разругивался, что не совладала с собой. Обняла, прижала, поцеловала в щеку, потом в рот. Родье

весь задрожал, она тоже перепугалась: ой, что натворила! Повернулась, убежала. Думала, как оно дальше будет?

Сегодня, когда мальчишка принес письмо, ждала чего угодно, но не этого.

Всё, закончилась сказка. Уезжает. А она, с подлым ее везением, даже не посластилась с милым другом. Дура, проклятая дура! Ничего у тебя никогда не будет...

Однако, вдоволь наревевшись, Марта встрепенулась. Ей пришла в голову мысль: красиво закончить красивую историю. Ибо ничего подобного в ее жизни больше наверняка не случится.

Пускай алчные шлюхи вымогают у ухажеров подарки. А она поступит наоборот: сама сделает Родье прощальный подарок. Чтоб помнил дочь амстердамского капитана. И ей тоже будет что вспомнить. Как единственный раз в жизни влюбилась всем сердцем и была щедрой.

Сразу же и сообразила, что дарить. Старший адъютант Александр (Menschikov фамилия, Родье о нем часто говорил) очень гордился своими часами на красивой цепочке. У других адъютантов часов не было. А пару дней назад, гуляя по торговой галерее на верхнем этаже Купеческой биржи, где самые лучшие магазины, Марта залюбовалась эмалевой луковицей неопишуемой красоты, со звонким боем. Вот это будет подарок! Запросная цена восемьдесят гульденов.

Денег у Марты дома было пятнадцать гульденов, остальные все в облигациях. Но уже совсем скоро десятое число, когда Свинячья Морда выплачивает содержание.

Замоталась в шаль от январского ветра и побежала к покровителю, господину Ван Ауторну, одному из бе-

индхемберов, управляющих директоров Ост-Индской компании.

Договор у них был такой: пятьдесят монет в месяц на всем готовом. «Все готовое» включает новое платье, нижнюю юбку и три пары чулок раз в два месяца; раз в три месяца башмаки не дешевле семнадцати гульденов десяти стюйверов; счета из хлебной, мясной и сырной лавок поступают на оплату к херру Ван Ауторну. Взамен Марта должна красиво одеваться, беречь здоровье (если что — за лечение будет платить сама), являться для исполнения своей службы когда вызовут и гарантировать *exclusiviteit*, то есть не путаться с другими мужчинами. Если сумеет как-то особенно потрафить работодателю, доставив ему сугубое удовольствие, получает *bonus*. Плюс на все главные церковные праздники — ценный подарок стоимостью не менее двенадцати гульденов десяти стюйверов восьмью дуйтов.

Хорошие, честные кондиции. Особенно если учесть, что господин Ван Ауторн вызывал к себе содержанку только по воскресеньям, когда госпожа Ван Ауторн отправлялась в Гаагу провести родню.

Сегодня была суббота, но Марта знала, что покровитель будет один. Его жена вместе со служанкой наперняка пошли в Ортус Ботаникус, где раз в неделю с очень хорошей скидкой продают совсем чуть-чуть подгнившие фрукты. Там госпожа Ван Ауторн будет ходить из оранжереи в оранжерею, крепко торговаться за каждый ананас и каждую дыню. Раньше вечера не вернется.

Поторгуется в магазине и Марта за часы-луковицу. Чтоб отдали не за восемьдесят, а за шестьдесят пять. Отдадут.

* * *

Хозяин открыл сам. Одет он был, как обычно дома, в многоцветный японский халат *kimono*, перехваченный по пузу шелковым поясом, — как есть свиной окорок в праздничной рождественской обертке. До прошлого года херр Ван Ауторн служил *фицеоптерхофтом*, вице-директором, в Нагасакской фактории Компании и хорошо разжился на своей японской должности. В комнатах у него повсюду были восточные ширмы, вазы, разные прочие дорогие, редкие вещи. Свинячья Морда хвастался, что Нагасакская фактория, самый дальний из заморских филиалов Компании, приносит по пятьдесят процентов ежегодной прибыли на каждый вложенный гульден.

Но богатство досталось Ван Ауторну нелегко. Служить в стране япанеров очень трудно. Они не любят чужестранцев и никого на свои острова не пускают под страхом смерти. Только купцов голландской Ост-Индской компании, да и тех лишь на крошечный островок близ города Нагасаки. Ширина того островка всего сто шагов, там и сиди.

Ван Ауторн рассказывал про свое японское житье удивительные вещи. Например, каждый новый голландец, прибыв во владения ихнего императора Микадо, должен наступить ногой на образ Богоматери в знак того, что он не христианин, потому что христиан жестокие язычники распинают на кресте. Икона католическая, так что потоптать ее честному протестанту незачорно, но молиться можно только тайком и шепотом. И церкви, понятно, на острове нет.

Еду, товары и даже питьевую воду японцы привозят сами. Приплывают и специально отобранные шлюхи, которых Ван Ауторн очень хвалил за ласковость и выдумку.

Он и от Марты требовал разных японских гнусностей, которым там научился, но не на таковскую напал. Она чтили и соглашалась, то не иначе как за отдельный *bonus*.

А сейчас, излагая свою маленькую просьбу (подумаешь, расплатиться на пару дней раньше!), пообещала и следующий раз исполнить любую его фантазию без какого-либо вознаграждения. И что же? Ответом на вежливое, скромное, выгодное предложение был отвратительный крик.

— Ах ты, наглая тварь! — по-свинячьи завизжал Свинячья Морда, пуча свои свинячьи глазки. — Да как ты смеешь требовать от меня плату? Или ты думаешь, я слепой? Хендрик Ван Ауторн никогда не дает себя надувать! Я всегда слежу за исполнением своих контрактов! У меня повсюду глаза и уши! Кто третьего дня обжимался и лизался на канале с молодым москвичом? Ты нарушила письменный договор, подлая шлюха! Ни дуйта не получишь. Мало того, я еще упеку тебя в Исправительный дом как мошенницу! У меня есть свидетель! Знаешь, как в Шпинхаусе воспитывают ту-нядок и приучают трудиться? Слышала про Насосный Подвал? Туда закачивают воду, и или качай, или тони. И так с утренней молитвы до вечерней. Я тебе это устрою, вероломная стерва!

Марте было известно, что в Шпинхаус за нарушение контракта не посадят и, главное, она отлично знала, как повести себя по-умному. Надо бы заплакать, покаяться, а потом, когда Свинячья Морда распалится от своего иссесилия, задрать подол и пару минут потерпеть. И ничего, простил бы, заплатил бы как миленький. Тем более что никаких поцелуев на канале больше не будет.

Но огненная искра упала глубоко в душу, подожгла Пороховой Погреб, потемнело в глазах, от взрыва раз-



дуло грудь, и Марта закатила Свинячьей Морде фейерверк почище того, что Царь-Петер тогда устроил для амстердамцев.

«Грязная жирная свинья», «кусок ослиного навоза» и «полдюймовый *сниккель*» — это еще самые мягкие комплименты, которыми она одарила херра Ван Ауторна. Под Мартиным напором он допятился до середины *форхауса*, споткнулся о скамеечку для ног, бухнулся на ковер, а падая, стукнулся башкой о клавишин, который отозвался мелодичным струнным перезвоном.



— Вон! — завопил Свинячья Морда, держась за ушибленный затылок. — Вооон! Чтоб я тебя больше не видел!

— Я уйду, когда ты заплатишь мне за минувший месяц!

Но херр Ван Ауторн сложил пальцы кукишем, да Марта и сама понимала: ничего не даст.

Ярость у нее еще не схлынула, но голова немного прочистилась и подсказала, что надо делать.

— Пусть у тебя треснет твое жирное брюхо и сгниет гвой поганый *сниккель*! — сказала она уже бывшему покровителю на прощанье.

Выбежала в прихожую, распахнула и громко захлопнула дверь на улицу, а сама спряталась в углу, за вешалкой с плащами. Уходить, не получив честно заработанное, Марта не собиралась.

Она слышала, как хозяин кряхтя поднялся. Потом увидела его тушу совсем близко — херр Ван Ауторн вышел в переднюю запереть дверь. Громыкнул засовом, выругался, тяжело затопал вглубь дома. Наверняка на кухню. Марта знала, что, разозлившись или разгорячившись, *бевиндхеббер* обязательно должен пожрать, и скоро не насытится.

Прислушиваясь к звяканью и громкому чавканью, она бесшумно просеменила к лестнице. Башмаки держала в руке. Там, на втором этаже, в спальне, месте основной Мартиной службы, под кроватью — утопленный в полу железный сундук, где Ван Ауторн хранит ценности. Замок хитрый, аугсбургский, открывается особым набором цифр — нужно крутить маленькие колесики. Но один раз, развежившись от ласки и налакавшись сладкой мадеры, Свинячья Морда стал хвастаться своими богатствами, и Марта подглядела: 7-9-0-1. Ничего такого не замышляла, просто у нее были хорошие глаза и быстрый взгляд.

Теперь пригодится.

Она подняла свисающее с постели покрывало, набрала цифры. Хорошо смазанная тяжелая крышка, открываясь, не скрипнула.

Внутри лежало сложенное аккуратными столбиками серебро. В каждом по двадцать гульденов, и столбиков этих сотня, а то и полторы. Вот ведь скряга! Пожалел несчастные пятьдесят монет! Еще там были стопки акций, чеки Виссельбанка и, в коробочках, драгоценности мефрау Ван Ауторн.

Марта собиралась взять только свое месячное жалование, пятьдесят гульденов. Ей, честной девушке, чужого не нужно. Но теперь, поостыв, заколебалась. Свинячья Морда пересчитывает свои сокровища каждый вечер. Нынче же обнаружит пропажу и догадается, кто взял. А в магазине расскажут, что Марта Крюйткаммер купила часы. За воровство уж точно попадешь в Исправительный дом, насос качать. Нет. Ни серебра, ни тем более драгоценностей брать нельзя. Лишь то, чего Ван Ауторн скоро не хватится и из-за чего не сможет пожаловаться стражникам.

И пришла ей в голову умнейшая, прямо-таки превосходнейшая мысль. Где тут была лаковая шкатулочка с японским божком? А, вот она, в самом низу.

Открыла, развернула шелковую тряпицу. В ладонь будто сам собой лег темно-коричневый шарик, невесомый и шершавый. Если не присматриваться — небольшой грецкий орех. А поднести к глазам — видно грубо вырезанную фигурку. Пузатенький идол сидит ноги калачиком, ручки сложены на животе, лысая башка с большущими ушами, узкие глазки зажмурены, посреди лба точка. Как его звать-то, идола? Ван Ауторн говорил... Буба? Нет, Будда.

Фигурка эта была очень важная. Не сама по себе, конечно — идол он и есть идол, тьфу на него, а для Свинячьей Морды. Из-за этого маленького кругляшка Ван Ауторн раньше срока покинул Нагасаки и получил такое почетное повышение, сделался *бевиндхеббером*. Очень он гордился этой историей, рассказывал про нее не раз, с удовольствием.

История была такая.

Божок раньше хранился в каком-то ихнем языческом капище. Япанеры почитали маленького идола за великую святыню, даже не смели на нее смотреть, пря-

тали за семью покрывами. Но главный жрец, которому полагалось оберегать Будду, оказался азартным игроком в кости, продулся в пух, залез в долги и попросил у Компании ссуду, потому что у туземных ростовщиков ему, святому человеку, одалживаться было зазорно. В залог предложил истуканчика.

Наши купцы сообразили, какая это великая удача. За орехового Будду можно было получить во много раз больше, чем тысяча монет, которую ссудили игроку. Если хорошо поторговаться, Компания добьется важных привилегий. Возможно даже права открыть еще одну факторию или расширить нынешнюю.

Переговоры предстояли долгие и деликатные, ведь официально никто никакого Будду не крал (это был бы скандал на все японское королевство), и никто из голландцев ореха якобы в глаза не видывал.

Главная опасность, рассказывал Ван Ауторн, состояла в том, что туземцы могли так же тайно выкрасть идола обратно. У них там есть секретная секта профессиональных шпионов, которые умеют прокрадываться куда угодно. Так и называются — «крадущиеся». Сопрут, и пиши пропало. Потому для пущей безопасности вице-директора фактории отправили с реликвией домой, в Голландию. Когда сговорятся с жрецами о цене выкупа, Будду доставят обратно, а пока он лежал себе в своей шкатулочке, у херра *бевиндхеббера* под кроватью.

За эту пропажу Ван Ауторн в суд не подаст. Во-первых, Будда и так краденый. А пуще того побоится Свинячья Морда показать себя перед Советом директоров болваном, у которого шлюха стащила такую ценную вещь.

Шарик, наверно, стоит многие тыщи, но Ван Ауторн может его выкупить за пятьдесят монет. Марта

Крюйткамер не воровка и не вымогательница, она лишь желает вернуть свое.

Очень довольная собственной смекалкой, она положила пустую шкатулочку точно на то же место, а маленькую круглую штучку спрятала в карман. Сундук лаперла обратно, покрывало поправила.

Внизу чуть не столкнулась с хозяином, но вовремя шмыгнула в боковую комнатку, где обитала служанка, и спряталась за полог *бетистелле*, спального альковчика.

Минуту спустя, беззвучно отодвинув засов, выскользнула на улицу.

Там кружились, посверкивали в зимнем солнце снежинки, Господский канал зеленел чистым льдом, день был свеж и ярок. От ослепительного света Марта сощурилась, и было ей странное видение.

Вдруг, очень отчетливо, она увидела у стены дома, перед поворотом на Утрехтскую улицу, ожившего божка Будду. Был он не крошечный, а обычного человеческого роста, в чем-то черном, с круглой голой головой и узкими глазами, а посерединке лба точка.

Марта зажмурилась, перекрестилась, и ничего, наваждение пропало. Поглядела снова — никого, только кружатся снежинки.

Ну и ладно. Надо было спешить.

Подарить Родье часы, увы, не получится. Но придумалось еще того лучше, Марта прямо вся задрожала от предвкушения. Какой подарок может быть дороже любви?

На прощанье она подарит милому себя. Перестанет изображать церемонную капитанскую дочку. Пускай один только разочек, но полакомится женским счастьем!

И несказанно обрадовалась своей придумке, понеслась по набережной со всех ног. Скорей, скорей!

От спешки чуть не лишилась жизни. Потому что не глядела вокруг, бежала сломя голову. Жалко было терять время. Сколько его осталось?

Вдоль канала мчалась упряжка с загулявшими морскими капитанами. Они орали, гоготали, разгоряченные лошади бешено фыркали. Прохожие не возмущались, дело для Амстердама было обычное, а лишь заблаговременно отбегали. Но Марта в своем возбуждении опасности не заметила, и пропасть бы ей под острыми копытами, под окованными колесами, но маленький Будда, которого она по-прежнему сжимала в руке, вдруг выскользнул из потной ладони, заскакал по мостовой, и женщина кинулась за шариком, чтоб не упал в воду.

Лишь когда в шаге за ее спиной пронесся ураган, Марта поняла, что спаслась чудом. То ли Христос ее спас, то ли, что вернее, Будда.

Поблагодарила обоих. Господа короткой молитвой, а божка поднесла к губам поцеловать, и только теперь сообразила: а пятнышко на лбу у него точь-в-точь как у Родье!

Поцеловала трижды, сказав: «Спасибо, херр Будда, за чудесное чудо».

И знать не знала, что чудесные чудеса только начинаются.

* * *

В гостиницу «Кабанья голова» она прибежала такая запыхавшаяся, что в первую минуту не могла и слова вымолвить. Лишь смотрела на Родье, да разевала рот. Он тоже был весь красный и вспотевший, хотя камин в комнате не горел.

Сказать то, зачем пришла, Марта не успела. Он заговорил первый, очень сильно волнуясь.

— Как хорошо, что ты здесь! Я боялся, письмо не получишь или еще что... А сейчас увидел тебя в окно — кинуло в жар. Перетрусил. Вдруг скажу, а ты... Сейчас, сейчас... — Он оттянул шейный платок, откашлялся. — Честная госпожа Марта Крюйткамер, выходи за меня замуж!

Выпалил — и испугался еще больше. Затараторил, ошибаясь в голландском хуже обычного.

— Мне завтра уезжать, бог весть когда вернусь, и вернусь ли... Или приеду, а ты уже с другим помолвлена. Без тебя мне жизнь ни во что! Повенчаемся нынче же, а? И уеду я в Англию твоим супругом, а ты будешь ждатель моей женой. И никто уже этого не порушит, ни на земле, ни на небе!

Она молчала оторопевшая, не верящая такому невозможному чуду. Родье же принял ее онемелость за сомнение — и еще торопливей:

— Ты меня давеча поцеловала, иначе я бы не насмелился! Значит, я тебе не противен?

Марта лишь помотала головой: нет, нет.

Он обрадовался.

— Вот видишь! А полюбить ты меня потом полюбишь. Я для тебя все сделаю, ничего не пожалею!

И снова забеспокоился.

— Только чтоб повенчаться, нужно одной веры быть. Ты согласная... в наш русский обычай перейти? Тот же Христос, только крестись тремя пальцами, а? Не согласная? Ах, так я и знал!

На ясных глазах выступили слезы. К Марте же дар речи все еще не вернулся. Поэтому она молча сложила

пальцы щепотью, как это делают русские, и перекрестилась справа налево.

— Тогда всё нынче же исполним! — вмиг перешел от отчаяния к восторгу Родье. — Отец Иоанн сделает тебя русской, а потом сразу нас обвенчает. Он добрый. Сначала не хотел, боялся государя, но я его умолил. Только отец Иоанн сказал, что хочет с тобой потолковать.

— Боялся Царь-Петера? — пролепетала Марта. — Почему?

Она уже могла говорить, но соображала плохо, мысли в голове сталкивались между собой. Как это — стать русской? Зачем толковать с пристером? Времени и так очень мало! И еще: а не снится ли ей всё это?

— Без разрешения государя денщику жениться нельзя.

— А он не разрешит, да? — упавшим голосом молвила Марта.

— Кто его знает? С ним не угадаешь. Может осерчать, тогда беда. А может разрешить, и это тоже лихо. Потому что он любит свадьбы играть, и творит на них такое, что рассказать стыдно. — Родье махнул рукой. — Нет уж. Повенчаемся тайно. А после, в Москве, как-нибудь устроится.

Я поеду в Россию, сказала себе Марта. Я буду супругой королевского адъютанта, благородной дамой. В далекой стране, где никто про меня ничего не знает и ничем не попрекнет. Совсем как мечталось!

Ах, да разве в том дело! Я буду с Родье. Навсегда, навечно!

И слезы из глаз. Сунула руку в карман, за платком — наткнулась на шершавый кругляш. И подумала: это всё Будда. Его чудеса.

...На беседу с *пристером*, который жил неподалеку от гостиницы, в маленькой квартире рядом с русской молельней, устроенной в пустом портовом складе, Марта шла светлая и радостная. Отца Иоанна она знала и нисколько не боялась. Он был почтенный, учтивый старец с длинной седой бородой, все время сидел с книгой. Когда Родье в прежние разы приводил свою амстердамскую знакомицу, тихую и скромную, священник тоже смущался, поглядывал на нее конфузливо, говорил о пустяках.

Теперь же она увидела его другим. Облаченный в лиловую рясу, с парчовой лентой через плечо, в высокой шапке трубой и золотым крестом на груди, отец Иоанн не улыбался, глаз не отводил, был торжествен и строг.

— Из лютеровой веры в православную перекрещивать не надобно, и церемония перехода из инославия самая простая, — сказал он. — Но прежде чем я свершу обряд, помажу тебя святым миром и сподоблю пречистых тайн, дочь моя, позволь сделать тебе несколько вопросов. Поклянись именем Христовым, которое равно священно и для вас, что будешь говорить правду.

Марта легко поклялась, не ожидая от доброго пастыря никакой тяготы. Она уже думала не о церковном обряде и даже не о венчании, а о том, что будет после, когда они с Родье останутся наедине.

Первый вопрос и вправду прозвучал просто.

— Должен я спросить тебя, дочь моя, чего ради переходишь ты из лютерской церкви в православную? По сердечной ли вере или по какой иной причине?

— По моей сердечной любви к херру Родиону и по сердечной вере в него, — отвечала Марта со всей честностью, потому что поклялась именем Иисуса. — У нас,

откуда я родом, говорят: «Муж верит в бога, а жена верит в мужа».

— Это хорошо сказано, но и муж должен верить в жену. — Священник все больше хмурился. — А как он будет тебе верить, если ты его обманываешь? Ты ведь не честная девица, ты блудня... Не изумляйся. Никто на тебя не доносил. Такая уж у меня служба — наблюдать человеков и зрить в их души.

Марта вскочила так порывисто, что опрокинулся стул. Грудь сжалась, в голове заметались куцы, испуганные мысли.

Что делать? Что отвечать? Неужто всё пропало? Поманило счастье и надсмеялось. Сейчас выгонят ее с позором — и что после? Единственно повесить камень на шею и в прорубь...

Можно было изобразить недоумение, возмущение, оскорбиться, но Марта посмотрела в печальные старые глаза *пристера* и горько разревелась.

Размазывая слезы, нескладно стала молить:

— Сударь, вы только Родье не рассказывайте. Ему больно будет. Я через черный ход уйду, а после напишу ему, придумаю что-нибудь...

— Как это я ему не расскажу? — переполошился отец Иоанн. — Он будет спрашивать, и что мне — лгать? Я не умею!

— Ну не лгите, коли не можете. — Марта вытерла слезы, поднялась. — Только скажите, что я любила его всем сердцем. Что из бывших шлюх выходят самые верные жены. И что Иисус от блудницы Марии Магдалины не отвернулся. Прощайте...

Опустила голову, хотела уйти, но священник ее остановил:

— И опять ты хорошо ответила. Истинная любовь самую черную грязь отмывает добела, про то вся наша жизнь. Однако скажи мне вот что: не таишь ли ты еще какой нечистоты или кривды, которая после сделает Родю несчастным?

Уж тут-то Марте точно следовало промолчать, но такой на нее нашел самогубительный порыв, что она снова повинулась в ужасном:

— Непогодная я, отец. Не будет у меня детей, а для благородной фамилии, которая требует продолжения, это беда...

Однако к этому признанию отец Иоанн отнесся с неожиданной легкостью.

— Появление на свет новых душ — то не твоего и не моего разумения дело. Воспонадобится Господу новая душа — появится. Ты молись. У Бога чудес без счета.

Он перекрестился, Марта тоже, а левой рукой в кармане еще и погладила орех.

Пристер теперь смотрел на нее без суровости, но все равно печально.

— Ты со мною была честна, буду и я с тобой честен. Чтоб ты тоже не обманывалась, пустых чаяний не строила. Должен я тебя предварить о двух вещах. А ты отнись не сразу, но подумав.

Марта, конечно, насторожилась, опять приготовилась к нехорошему.

— Если ты воображаешь, дочь моя, что будешь в Москве знатной придворной дамой, потому что твой жених — сын важного *офисьера*, вроде здешних королевских гвардейских, то знай: это не так. Скажу тебе то, чего сам Родя по юности лет не понимает. Его родитель херр Аникей Трехглазов, в самом деле, подполковник лучшего из старинных царских полков, однако же в

прошлом году среди стрельцов обнаружился злодейский заговор. Главарей предали мучительной казни, а солдат с командирами отправили подальше из столицы, на пограничную службу. Так что отец Роди, считай, в ссылке, у государя в немилости. А у нас в России так: кого не жалует царь, в того летят все стрелы. На то, что его величество благоволит Роде, тоже не надейся. Государь переменчив, и люди для него что огурцы: надкусил да выбросил. Не жди в Москве ни почестей, ни богатства.

— Я раньше думала, что мне это важно, — сразу сказала Марта, потому что думать тут было не над чем. — А теперь мне все равно. Я хочу прожить свою жизнь с Родье — Бог даст, в радости, а нет, так и в горе.

Пристер вздохнул.

— Тогда еще одно, чего иноземке не сказал бы, но поскольку ты ныне собираешься стать одной из нас, утаить не могу. Москва — не Амстердам, а Россия — не Соединенные Провинции. Жизнь у нас суровая, грубая, закрытая. Прямо — как я сейчас — никто ни с кем не говорит, все больше шепотами и обиняками, неоткровенно. Суда справедливого нет, на все воля начальственных людей, и наказания их жестоки. Я как лицо духовное обязан видеть во всех сих злосчастиях особенную любовь Господа, который, как нам ведомо, строже всего испытывает тех, кто его правильнее славит... Однако ж знай: из страны легкой, богатой, счастливой поедешь ты в страну трудную, бедную и несчастную, да простят меня Бог и государь, что я такое говорю.

Под конец Марта слушала невнимательно, думала уже о радостном.

— А ничего, — улыbnулась она. — Несчастнее, чем в Голландии, я там не буду.

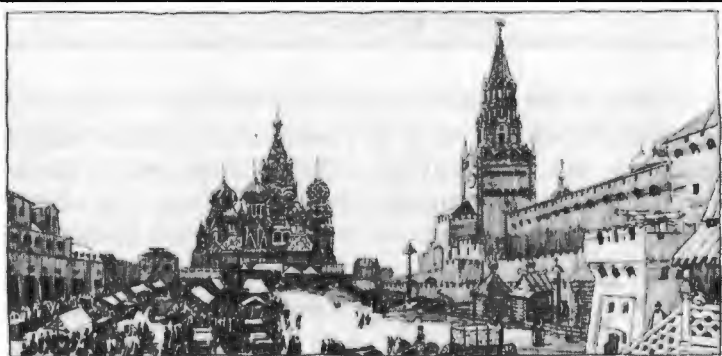
— Ну Бог с тобою. Видно, так Ему надо, — молвил отец Иоанн, спуская с плеч концы златотканого шарфа с вышитыми крестиками. — Тогда повторяй за мною слова отречения от ересей...

Пира никакого не было. Сразу после венчания молодые заперлись в комнате, и до самого утра Марта любила своего мужа. Плотских блаженств, о которых ей мечталось, никаких не получилось, потому что Родье от юности был неловок, а Марта себя сдерживала, чтобы не выдать своей опытности. Говорила мысленно: «Ничего, милый, всему свое время. Я тебя много старше, но когда ты как следует меня узнаешь, не захочешь никаких других женщин и всегда будешь мне верен. А я-то тебе вечно буду верна».

Ночью она научилась называть Родье по-новому. Спросила, как его в детстве звала матушка. И когда на рассвете прощались, сказала:

— Ты только возвращайся, Rodnenkje.





НЕМАЯ МАРФА

Москва. 7206 г.

«А по пятницам доброй хозяйке надлежит менять постельное белье на кроватях, простыни, пододеяльники и подушные наволочки, и те, которые несвежи, постиравши в кипятке, потом шесть часов томить в холодной воде, добавивши туда лаванды и сушеной ромашки — первую ради приятного запаха, вторую — для отпугивания клопов», — шевелила губами Марта, стараясь получше запомнить. За долгое путешествие она научилась непростому искусству чтения в тряском возке. Книга была очень полезная, называлась «Опытная и знающая голландская домохозяйка». Девочки, которые выросли в хороших семьях, знают ее с детства, там домашняя мудрость на все случаи жизни, но Марта была из плохой семьи, хозяйкой становиться никогда не собиралась, и наука была ей внове. Теперь вот навестывала, благо времени в дороге хватало.

Она прикрыла глаза, чтоб не подглядывать в книгу, стала шепотом повторять, и тут отец Иоанн тронул ее за рукав.

– Гляди. Москва.

Повозки одна за другой останавливались на холме, под большим деревянным крестом. Все спешили, крестились, смотрели на огромный город, синевший вдали, за излучиной реки. Стала смотреть и Марта.

Закатное солнце светило в спину, и русская столица сияла посверкивала золотыми точками. Марта не сразу догадалась, что это купола храмов, сотни и сотни. Остальное было серое — там где дома, и желто-красное — где осенние деревья.

— Сподобил Господь вернуться, — прошептал отец Иоанн, всхлипнув, и Марта поняла сказанное.

Она была русской уже девять месяцев, с января, и усердно училась всему русскому: и трудному курлыкающему языку, и нетрудной грамоте.

В то же январское утро, когда бывшая *салет-йофер* «Пороховой Погреб» проснулась госпожой *Tryockhglasoff* и проводила законного супруга в заморское плавание, она съехала с прежней квартиры, объявив, что навсегда, ни с кем из прежней жизни не попрощалась и переселилась к *фадеру* Иоанну. Так было условлено с Родненкье.

Оттуда, из корабельной слободы Оостенбурга, она никуда не выходила, чтобы случайно не повстречать каких-нибудь старых знакомых. На рынок за едой плавала на другую сторону бухты, на пароме.

Ей несколько не было скучно. Марта училась — новому языку, новым молитвам, ведению хозяйства; с увлечением готовила по поваренной книге разные кушанья; что ни день устраивала уборку в маленькой квартире отца Иоанна. По вечерам писала мужу, рассказывая, как провела день. От Родненкье письма тоже приходили часто.

У него-то событий было много больше. Царь-Петер на месте не сидел, таскал за собой свиту то в доки с арсеналами, то в парламент, то в университет, то смотреть в большую трубу на звезды, то в кунсткамеру на заспиртованных уродцев, и повсюду Родненкье наблюдал удивительное, и обо всем обстоятельно рассказывал, в конце непременно приписывая про любовь и бережение здоровья.

За свое неожиданное, незаслуженное счастье Марта благодарила всех богов. Русского вслух и вместе с *фадером*, голландского — шепотом, когда одна. Не забывала и орехового Будду. В отличие от двух первых, он был всегда рядом. Можно погладить пальцем, поцеловать. Живот у божка был круглый — каким стал бы и у нее, Марты, если б она могла понести. Об этом она часто думала, вздыхала.

И что же? Со временем явилось новое чудо, не менее, а даже более поразительное, чем январское!

Двенадцать лет путалась Марта с мужчинами, уж давно со счета сбилась, сколько их перебивало — и ничего. А тут полюбилась всего одну ночку, и проросло семя.

Она долго боялась верить. Когда же сомнений не осталось, сделала для чудотворного шарика петельку из тончайшей, почти невидимой, но очень прочной шелковой нити и повесила талисман на шею, рядом с русским крестиком и маленьким образком «Нечаянная радость» — то и другое дарено отцом Иоанном по случаю превращения лютеранской Марты в русскую Марфу.

А в конце апреля пришло письмо, после которого тихая оостенбургская жизнь закончилась.

Родненкье сообщал, что государь возвращается в Голландию, но долго там не задержится, отправится к австрийскому императору, а младшим денщикам ве-

лено следовать напрямиком в Вену. Попечалившись, что не повидается со своей *geliefde vrouw*, муж давал подробные наставления, как Марте быть: ехать вместе с обозом, который повезет в Москву из Амстердама закупленные там инструменты, механизмы и всякие редкости. Дорога будет медленная, но это хорошо, потому что черевой быстро ехать и ненадобно. Состоять Марте по-прежнему при отце Иоанне, который будет ее попекать и о ней заботиться. Если же *schatje Marfinka* окажется на Москве ранее мужа, то жить ей у свекрови *Agafia Petrovna* в *Kisłowska sloboda*, что в *Beluj gorod*, там же и рожать, матушке про то уже отписано. Женщина она строгая, но бояться ее не надо.

Марта и не боялась. Она жила на свете давно и хорошо знала: если ты кому-то очень хочешь понравиться, то, если не совсем дура — понравишься. Полюбят ее свекор со свекровью, когда узнают. Никуда не денутся. Чтоб полюбили скорее, она приготовила обоим хорошие подарки. Новому батюшке черепаховую табакерку и красивую шпагу с золоченым эфесом; новой матушке — павлиний веер, вечную французскую розу для корсажа и перламутровый гребень. Потратила все свои сбережения, но не жалко.

Перед самым отъездом послала Фимке письмо в ее фризскую дыру, пусть Корова сдохнет там от зависти. Подписалась: «*Nobele dame Martha de Tryockhglasoff*» — на французский лад, по-дворянски.

Пока караван обстоятельно собирался в дорогу, наступило лето. Наконец поехали, и ехали долго, через всю Германию — ганноверские, брауншвейгские, бранденбургские владения. В Бремене остановились и про-

стояли две недели — ждали, пока тамошние мастера изготовят Царь-Петеру (которого надо было правильно называть «*batjuschka zar gosudar Pyotr Alexeevitch*») набор зубодерных щипцов.

Живот понемногу рос, Марта его пощупывала, поглаживала, улыбалась.

Ехали через Польское королевство — начало поташнивать. В великом герцогстве Литовском тошнить перестало, но понадобилось перешивать пуговицы, потому что платье не застегивалось. С иголкой непривычные к женской работе пальцы управлялись плохо, Марта вскрикивала, укалываясь, и смеялась.

А там уж показалась и русская граница. Ее пересекли в самый последний день лета.

И тут в обозе случился переполох. Оказалось, что в Московском царстве большая смута. Взбунтовались пограничные полки, собрались походом на столицу, хотят свергнуть царя Петра Алексеевича и вернуть на престол его сестру принцессу Софью, которая правила раньше, а теперь заточена в монастырь.

Простояли у рубежной заставы неделю, потом узнали, что мятеж, слава Богу, подавлен, бунтовщики схвачены, а многие уже казнены. Отец Иоанн отслужил молебен, отправились дальше.

А Марта была рада передышке. Брюхо у нее делалось все капризнее, от непокоя пучилось, содрогалось. Но и это было счастье. Все вокруг уважали Мартины страдания, называли почтительно Марфой Ивановной — ведь она была благородная особа и мужняя жена.

Страна *Rusland*, новое отечество, показалась ей очень странной. В пути Марта сравнивала все чужие княжества и королевства с Голландией и видела: чем дальше на восток, тем жизнь хуже. Немцы жили беднее

и грязнее голландцев; поляки беднее и грязнее немцев; литовцы с их соломенными лачугами и тощими стадами показались вовсе дикарями. А Россию сравнивать с другими землями было трудно, потому что никакой России, считай, не было.

Пустая страна, безлюдная. В Голландии из одного селения обязательно видно соседнее, да и не одно. Здесь же в первый день не встретилось никаких домов, только леса, поля, низкие холмы. На второй день утром проехали деревню в три дома и перед самым вечером еще одну, в пять.

— Где все люди? — удивилась Марта.

Отец Иоанн ответил:

— Земля у нас широкая, малолюдная. Это еще населенные края. За Москвой, к северу и востоку, того пустыней. А кто бывал за горами Каменный Пояс, рассказывают, что там можно неделю идти и ни души не встретишь.

Марта ждала первого города, который назывался *Smolensk*, столица провинции *Smolenschina*, однако он оказался деревянной деревней, размером не больше Заандама, только что обнесен каменной стеной с пушками.

Удивительное королевство!

Удивительно было и то, как изменились спутники. По ту сторону границы были они смешливые, распевали веселые песни, звонко отбивая темп деревянными ложками, а достигнув родины, вместо того чтоб радоваться, вдруг заугрумились и пели теперь протяжное, грустное. Может быть, из-за мрачных лесов и мокрого осеннего неба?

Больше всех переменялся начальник стражи херр *sotnik Fyodor Sjtsjoekin*. Произошло это, правда, не прямо на границе, а после Смоленска. Там обоза дожидался



гонiec с письмом. Сотник прочитал, насупился и с тех пор шуток с Мартой больше не шутил, а смотрел исподлобья и молчал, хотя все время был где-то неподалеку.

Хмур сделался даже *фадер* Иоанн. Бесед не вел, лишь вздыхал и шептал молитвы, на все расспросы о приближающейся Москве отвечал только одно: «Молись, дочь моя».

Ну и пусть. Марте и без бесед было чем себя занять, о чем подумать.

Дорогу развезло от ливней, езда на повозке, и раньше тряская, сделалась пыткой для огромного живота, потому Марта предпочитала идти пешком. Говорят, оно и для плода полезно. Если начинался дождь, раскрывала китайский зонт с драконом. Редкие встречные разе-

нали рот на такое диво: огненноволосая брюхатая баба в полосатом иноземном платье под грибом, на котором разевает пасть нерусский Змей Горыныч! Крестились, некоторые плевали.

Думала Марта теперь всё больше про свекровь. Если в России даже хорошо знакомые люди стали такие нелюбезные, какова же будет матушка Агафья Петровна, коли она среди русских слывет суровой? Как бы дотерпеть до той поры, когда вернется Родненкье? Тогда каждый день будет праздник. А когда родится сын (непременно сын!) — вдвойне.

Что Родненкье еще не вернулся, она знала. Иначе прислал бы какую-нибудь весточку из Москвы, а то и встретил бы на дороге. После самого отъезда из Амстердама ни одного письма от него не было, а и куда бы он стал писать?

* * *

Все русские кланялись венчающему горку деревянному кресту, который так и назывался — Поклонным, молились, чтобы дома за время разлуки ничего плохого не стряслось, просили у попутчиков, с кем скоро расставаться, прощения за вольные и невольные обиды.

Подошла и Марта к *фадеру* Иоанну, низко, по-русски, ему поклонилась, спросила, не прогневала ли чем его по своей дурости, раз он ее сторонится, и коли виновата, пусть он ее простит.

Священник от этих слов понурился, прослезился, замахал на нее дрожащей старческой рукой.

— Это ты меня Христа ради прости, червя малодушного. Должен я был тебе наперед сказать, да забо-

ялся. Сотник Щукин велел с тебя глаз не спускать, а правды не говорить, и всяко грозился, вот я, грешный, и не посмел...

Она слушала, не понимая.

Взял ее отец Иоанн за локоть и, пока остальные домаливались каждый о своем, зашептал:

— Перед Господом грех хуже, чем перед Государем... Видала гонца, что нас в Смоленске ждал? Была у него при себе для Щукина грамотка. В той грамотке писано, что стрелецкий полуполковник Аникей Трехглазов, твой свекор, был у мятежников в главарях. Видно, обиделся на государя, что тот его за верную службу ссылкой наградил... Велено за тобой, трехглазовской невесткой, неявно, но крепко досматривать, а по приезде доставить в Преображенский приказ. Это место страшное... На беду свою ты сюда приехала, бедная.

А Марта всё не могла взять в толк.

— Так то свекор, а что им я? И Родье мой ни при чем, его же в России не было, он с царем за границей путешествовал.

— У нас не так, как в Голландии. Сын за отца ответчик. Вся семья заодно. Если награждают — весь род, если карают — тож. Испокон века так. На что ты допросным дьякам из Преображенского приказа понадобилась, не знаю, а только хорошего там не жди. Эх, девка, сбежала бы ты, что ли... — тоскливо закончил он.

— Куда я побегу? — перепуганно схватилась за живот Марта. — Я хожу-то уткой, с боку на бок...

— Ладно, Бог милостив, а от судьбы не уйдешь. Может, и не будет ничего. Расспросят да отпустят. На тебя поглядеть — видно, что дура голландская.

— А с Родье что будет? — вскрикнула она. — Только бы нас не разлучили!

Священник ничего не ответил, лишь возвел очи к небу.

Тут сотник Sjtsjoeekin закричал, чтобы все садились по повозкам и в седла, время-то к темноте, и обоз тронулся.

Всю дорогу до городской границы, высокого земляного вала с караулом, Марта то молилась за Родненкье, то просила прощения у своего будущего сына. Думала, на счастье его родит, а выходило — на беду.

У заставы случилось жуткое. Когда стража остановила поезд и сотник с седла стал на них кричать, что обоз-де государев и нечего волокититься (Марта поняла это и со своим небольшим русским), из-под стены, где густела тень, вышел некто в синем кафтане, в остроконечной шапке волчьей оторочки. Подошел к сотнику:

— Ты Федька Щукин? Тебя, изменника, блудного сына, нам и надо.

И как свистнет. Откуда-то налетели еще двое, тоже синие, сволокли стрелецкого начальника с седла, и, хоть он не сопротивлялся, а только охал, стали свирепо бить ногами. Потом кинули в телегу, на солому, повезли. Старший же перед тем, как пойти следом, крикнул:

— Государев обоз пропустить!

Вернувшаяся из Европы посольская челядь молча постояла, потом возницы ни слова не говоря трянули вожжами. Поезд въехал в столицу русского царства.

Священник сказал Марте на ухо:

— Не иначе кто-то из стрельцов с пытки наговорил на Щукина. Он вон тоже в Европе был, ни в чем не замешан — а слыхала? Изменник.

Она тряслась, стучала зубами.

Уже почти совсем стемнело, но и сквозь сумерки было видно, что русская столица нехорошая. Улицы

зловеще пусты. Вдоль них глухие заборы, и ворота все на запоре. Дальше — диковинней: пустыри, огороды, редкие огоньки. Заколдованное, выморочное царство.

Впереди сквозь мрак забелела подсвеченная факелами каменная стена с толстой башней. Меж зубцов густо висели, покачиваясь, черные стяги.

— Это Белый город, — объяснил *фадер* Иоанн. — Внутри будут еще две стены, Китайгородская и Кремлевская. Скоро прибудем. Ты чего?! — шарахнулся он, потому что Марта завизжала.

Посмотрел, куда она тычет трясущимся пальцем, и тоже вскрикнул.

Меж зубцов висели не стяги, а покойники, многое множество, сколько хватало глаз, в обе стороны.

— Стрельцы это, стрельцы, — загудели обозные. — Ишь сколько повешено...

У Марты закрутило живот. Подхватила его руками, скрючилась, перетерпела, уговорила дитя повременить.

За стеной заборы стали выше и сомкнулись. За ними угадывались высокие крыши, не такие острые, как голландские. Людей по-прежнему не видно, не слышно. Только отовсюду неся хриплый, бешеный лай. Марта не знала, что в городе может быть столько собак.

Отец Иоанн кряхтел, ворочался на сиденье, несколько раз вроде порывался что-то сказать, но не решился. Марте было не до терзаний спутника. Она молилась, подняв обе руки к шее: одною гладила образок, другой Будду.

Но посреди большого перекрестка поп вдруг нагнулся к самому уху спутницы и тихо, чтобы не услы-



хал сгорбившийся на облучке возница, а в то же время отчаянно, еще и махнув дланью, шепнул:

— Я духовная особа, а не *schpin* преображенный! Спросят — я спал. Что они мне, старику, сделают?

Странные слова, верно, были продолжением какого-то внутреннего разговора с самим собой, и Марта не поняла.

— Что?

— А то! — Он показал на зазор между заборами. — Вон там Кисловская слобода. Близко. — И решительно продолжил: — Соскользни на землю, неприметно. Беги туда. Повернешь во второй переулок налево, упрешься в большие ворота. Там двор Трехглазовых. Вдруг не всех домашних забрали. А коли нет никого — надейся на Господа. Может, пожалеет рабу свою Марфу и не рожденного младенца. Пора, с Богом!

И толкнул в плечо.

Кроме *фадера* Иоанна в этом страшном, чужом мире у Марты никого не было, а собственных мыслей у нее в голове никаких не осталось, один страх. Поэтому не споря и не рассуждая, она перевалилась через борт повозки, пригнулась, вперевалку засеменила в темноту. Ничего с собой не взяла.

* * *

Тяжело дыша, шла тесным, как ущелье, переулком. Пока ехали широкой улицей, дул порывистый ветер, вскидывал вверх палые листья, ворошил лошадиную гриву, а тут было тихо. Заборы подступали с обеих сторон, будто понемногу загоняли в ловушку, из которой не сбежать. Переулок закончился тупиком, привел к



большущим воротам в два Мартиных роста. Она остановилась в нерешительности. Постучать?

Потом заметила, что створки сдвинуты неплотно. Закреты, но не заперты.

Толкнула, вошла во двор. Застыла.

Там, на пустом пространстве между чернеющим в темноте большим домом и низкими постройками по бокам, кто-то стоял. Раздался сухой щелчок, другой, третий. Рассыпались искры, загорелся малый огонек, сразу же расцветший большим трескучим пламенем. Это от трута вспыхнул, разгорелся факел.

Его держала в руке невысокая, плотно сбитая женщина в спущенном на плечи платке. Волосы у нее были темные, посверкивали серебром.

Вдруг, должно быть, услышав, как переминается с ноги на ногу Марта, женщина обернулась.

— Тебе чего тут? — сказала она странно глухим голосом. — Ты кто? А ну, подойди.

Марта приблизилась.

Увидела плоское лицо с китайскими глазами, похожими на Роднины, и догадалась, кто это.

Поклонившись, произнесла приветствие, выученное давным-давно, еще до отъезда из Амстердама (отец Иоанн научил):

— Стравствуй, матушка Агафья Петровна. Пошлай меня, точерь твою Марфушку. Посторову ли ты?

Узкоглазое лицо не дрогнуло, никаких чувств не выразило. Свекровь молча разглядывала оранжевые локоны, странную для нее одежду, а остановила взгляд на животе.

Не дождавшись ответа, Марта спросила про самое главное:

— Родье уше вернулся?

Глаза-щелки сомкнулись, будто в сонливости. Всё такой же глухой голос негромко, словно сам себе, проормотал:

— Вернулся... Видно такой уж день, что все собираются. — Глаза открылись. Теперь они смотрели Марте в лицо. — Явилась. Брюхо под самый нос. Куда тебя, курицу голландскую, принесло? Нешто не слыхала про Аникея? Сгинул мой муж. И нас всех погубил.

— Сачем он? — спросила Марта. — Против царский маестат сачем? Обиделся на царь-патюшка?

Это она вспомнила слова отца Иоанна — про то, что *лейтенант-колонел* обиделся на его величество за ссылку.

Агафья Петровна ответила трудно, Марте не все было понятно.

— Аникей не из обидчивых. В начале июня было от него тайное письмо. Писал мне, что поведет стрельцов

на Москву царя Петра гнать, царевну Софью с Васильем Голицыным назад сажать. Я, писал, Петра на трон посадил, я его и скину. Он-де, Петр, задумал Русь сделать Голландией и, если ему не помешать, то Русь в Голландию все равно не обратится, но Русью быть перестанет.

— Голландия — хорошо, — сказала Марта. — Почему нет?

— Коли хорошо, там и сидела бы. А мой Аникей знал, что говорит и делает! — окрысилась свекровь. — Если б его в бою первым же ядром не убило, была бы сейчас в Кремле царевна Софья Алексеевна, а Петр, чертушка, остался бы на вашей басурманщине. Да, видно, дьявол ему пособил. Пробило моему Аникею грудь, и стрельцы разбежались. Потому такие сейчас на Руси времена, что сила у Сатаны...

Отец Иоанн учил, что, произнеся или услышав имя Врага Божьего, русский человек, коли он в своем уме, поскорее крестится в обережение от Лукавого, и Марта перекрестилась, а свекровь не стала. Наверное, она была не совсем в уме, потому что и разговаривала, и шла себя странно.

— Где Родье?

Агафья Петровна криво, одной половиной рта улыбнулась, и эта гримаса тоже показалась Марте безумной.

— Не разглядела, когда входила? Пойдем, покажу. Подняв факел, вышла за ворота. Посветила налево.

— Это вот супруг мой Аникей Маркелович. Четвертый месяц тут.

Марта закричала, увидев кол с торчащей наверху полуистлевшей головой.

— Видишь, табличка внизу: «Вор и злодей». Снимать голову не велено...

Посветила справа.

— ...А вот и Родя мой... Наш.

На воротном столбе висело узкое тело. Отсвет пламени упал на скорбное, страшно изменившееся лицо, на спутавшиеся волосы, в которых белела седая прядь.

— Привезли нынче на телеге из Преображенского. Говорят, на дыбе издох. Повесили рядом с отцом и тоже до особого указа хоронить запретили. Говорю же: такой день, что все собрались...

Опершись о ворота, Марта пыталась дышать. Широко разевала рот, но воздух в горло не входил.

А якутка всё говорила — спокойно, раздумчиво, глядя на свой пылающий факел.

— Москву эту поганую спалю. В сарае у меня сено, повдоль забора тож накидала. Ветер хороший, сильный. Подхватит. Пускай, тошнотная, вся дотла выгорит. Жалко только Кремль из камня...

Но смутных, сумасшедших этих речей Марта не понимала и не слышала. В ней что-то происходило. Что-то неостановимое и страшное, разом заслонившее весь остальной мир.

— *Matje!* — провыла Марта, хоть своей матушки и не помнила. — *Matjeeeee!!!*

— Э, баба, да из тебя уже полило, — сказал где-то далекий голос. — Обопрись, обопрись! На крыльцо тебе не взойти. До конюшни хоть, на сено...

Сильная рука взяла под локоть, другая обхватила за бок, и повела куда-то, потянула. Марта ничего не видела, не слышала, вся сосредоточенная на происшедшем внутри нее.

И потом была будто не в себе. И когда орала, и когда задыхалась, и когда кусала кулак. Взгляд безмысленно шарил по дощатому темному потолку, по бре-

мечатым стенам, выхватывал не имеющие значения куски: сосредоточенное скуластое лицо; трепет пламени; лошадиную морду с влажными глазами; хомуты, упряжь.

Долго это длилось, нет ли, Марта не знала. Но вдруг стало легко, и отпустило грудь.

Удивленно мигая, Марта уставилась на маленькое, круглое, откуда-то появившееся перед самым ее носом.

— Гляди — девка. И родинка на лбу. Ихняя порода, трехглазовская... На, на. Покорми... Да не так!

Сев, Марта приложила младенца к груди. Он сам знал, что ему надо. Легонько тянул, чмокал.

— А только не будет больше Трехглазовых, — вздохнула Агафья. — Кончились...

Она и потом всё что-то говорила, но Марта поняла лишь обращенный к ней вопрос:

— Как дочку назовешь?

— Не снаю...

Марта растерялась. Она не сомневалась, что будет сын, похожий на Родье. А дочь — зачем дочь? Чтоб подручилась, как мать? Нет, этого не надо.

— Вот дура! Мать твою как звать?

— Катарина.

— Что ж, Катерина — имя хорошее. Как дитя держишь, горе голландское? Чему у вас там девок учат?

Отняла ребенка, показала.

— Да, да. Понятно, сама.

Марте не терпелось забрать дочку обратно.

— Что же мне с тобою делать? Куда деваться? — Свекровь вроде как спрашивала, но никакого ответа не ждала, разговаривала сама с собою вслух. — Завтра со светом соседушки пожалуют, дом грабить. Раньше-то боялись — вдруг царь Родю помилует. Ныне поймут: можно...

Дитя тихонечко сопело, никак не могло насытиться.

— Катерина, Москвы спасительница, — сказала крохотной девочке Агафья. — Не стану из-за тебя город поджигать, хотя надо бы. Я как думала? — Это она обратилась уже к Марте. — Запалю пожар, полюбуюсь немножко и в лес уйду. Лесом можно хоть до Катая дойти. Лес и укроет, и накормит. Я к нему сызмальства привычная. Но с вами двумя в лесу не проживешь. Дорогой тоже не пойдешь, больно мы с тобой приметные — одна раскосая, другая вовсе нерусская, еще и с дитем.

Наверное, женщина давно ни с кем не разговаривала, а теперь все не может остановиться, подумала Марта и помотала головой: половины-де не понимаю.

— Пойдем в дом, поспи немного на кровати. Умаялась ты, а и обмыть тебя надо.

Это Марта поняла и снова покачала головой, решительно.

— Не хочу дом. Лучше здесь.

Объяснить почему не хочет, она затруднилась бы, но Агафья сделала это сама:

— Поди, воображала, как будете там с Родей жить? Я тож там боле не могу. Стены тишиной давят... Ладно, тут полежи. Поспи. А я пока подумаю.

Укрыла мать и младенца шерстяным платком, сняв его с плеч.

* * *

А в следующее — так показалось — мгновение уже снова теребила Мартино плечо.

— Эй, эй! Будет спать. Уходить надо.

Был, однако, уже рассвет. Марта огляделась.

Большая конюшня. Шесть хороших лошадей, нарядная коляска, красивые зимние сани. Но потом перешила взгляд на спящую дочку и ни на что другое уже не смотрела.

Девочка была не огненноволосая, как мать, а чернышняя — в отца, это Марте очень понравилось. На любимке малюсенькое пятнышко, которое надо было поскорее поцеловать.

— После налюбуйешься. Я уж и так дала тебе до самого света поспать, больше нельзя.

Свекровь стояла, одетая в длинную куртку дубленой овчины, обутая в сапоги, на голове войлочная шапка.

— Нарушила я царев указ. Аникея с Родей в саду выкопала, сверху дерн положила, чтоб не нашли. А мы уходим. Пускай соседушки тащат что хотят. Эта жизнь кончилась.

— Кута уходим? Талеко? — спросила Марта садясь. Внизу живота было больно, особенно не расходишься.

— К старцу пойдем.

— К старик? Какой старик?

— Не старик, а старец. Про староверов слышала?

— Да. Отец Иоанн коворил. Вот так телают, неправильно. — Марта перекрестилась двумя пальцами. — А надо вот так, три палец. Сачем староверы?

— В Москву с севера приходят старцы, спасать людей, кто от старой веры не отошел. Зовутся такие старцы «кормщики», это кто корабль по морю ведет.

Схеенслоодс, догадалась Марта.

— Живут «кормщики» на Москве тайно, набирают свой «корабль», душ пятнадцать или двадцать. Когда наберут — уводят обратно, на север. Сейчас много стрельцких вдов, которые, как я, жить здесь больше не хотят, да и не на что. «Кораблей» много уплывает. Слыха-

ла и я про одного старца, Авениром зовут. Прикинемся староверками, уйдем подальше, а там видно будет.

Посмотрела Агафья на старательно мигающую невестку, вздохнула: какая из нее, рыжей немкини, староверка?

— Ты вот что, баба, ты все время молчи. Будешь немая. Я сама со старцем говорить стану. Креститься двоеперстно умеешь, и ладно. А одежду я тебе собрала. Раздевайся. Заодно погляжу, каково ты нарожала...

Обмывая и потом укутывая рожалое место, Агафья что-то недовольно бормотала и качала головой.

— Ох, неладно... Попадем в ихний схрон, отлежишься. «Корабль», Бог даст, не прямо нынче уйдет. Что это у тебя на шее? Крестик долой, потом добудем старый. И образок «Нечаянная радость» не гож, он никонианского письма. А это что за кругляш?

— Amulet. Talisman. Для счастье и спасение.

— Оберег что ли? Не любят они этого, бесовским вредноверием называют.

— Не отдам! — Марта прикрыла орешек ладонью.

Так и осталась без креста и без радости, но с Буддой.

Одела ее свекровь в русское, теплое, черное. Рыжие волосы собрала, укутала черным же платком. Сказала: «Ты ныне вдова, твой цвет вдовый». Девочку завернула в мягкую овчину.

— С конями попрощаюсь, и пойдем.

* * *

Шли они небыстро, потому что Марта широкоставляла ноги и через каждые сто шагов просила немножко постоять, а если было на что — садилась.

Агафья рассказывала ей про покойного мужа, мало заботясь, понимает слушательница или нет. Для себя говорила, не для невестки.

— ...Мой Аникей был твердый. Будто камень. Тверже я никого не встречала. И страха в нем совсем никакого не было. Не умел бояться. За то Петрушка, бес, его и не любил, хоть обязан Аникею своим царством. Петрушка сам вертлявый, он каменных не выносит, а бесстрашных страшится. Но я к Аникею не за его твердость приросла. Хочешь расскажу? А ты мне после расскажешь, как приросла к Роде.

«Приросла» это *verliefd*, перевела себе Марта. Кивнула:

— Да, очень хочу.

— Жили мы в лесу. Отца у меня не было, его медведь сломал. Братьев тоже не было. Охотиться приходилось нам, мне и сестре, потому что мать хворала. Я хорошо охотилась, у нас всегда еда была. И меха много — менять. А однажды, в лесу над Улахан-Юрях, это река такая, большая, столкнулась в лесу с русским казаком. Это я подумала, что он казак. У нас там русские только казаки были, почти все плохие, разбойные люди. Мы, якуты, скоро сто лет христиане, а казакам все равно. Грабили нас, насильничали. Еще русские бывали купцы, эти получше, они не грабили и не насильничали, а только обманывали, но тот, кого я встретила, на купца был непохож. На боку сабля, за кушаком малое ружье (так мы пистолы называли), и лицо некупеческое, твердое. А я девка, одна, шестнадцать лет мне. Но увидела его первая. Навела свой самострел, убить хотела. Думаю: хорошее оружие, хороший кафтан, хорошие сапоги. А что? Русские нас не жалели, мы их тоже.

— Почему не убила? — спросила Марта. Она понемногу начинала понимать лучше.

— Потому что он — давай смеяться, чуть не до слез. Как в смеющегося человека стрелять?

— Почему смеяться?

— Вот и я ему: «Пошто смеешься? Думаешь, коли девка, не попаду?» А он мне: «Не думаю. У тебя вон две белки на поясе, так неужто в здорового мужика смажешь?» — «Чего, говорю, тогда смеешься?» Он говорит: «Смешно. Сколько раз гадал — какая мне на роду смерть написана? От железа? От свинца? От болезни-лихоманки? На плахе под топором? В степи под бураном? А что меня птичка-снегирь клюнет, не думал. Не смешно ли?» А я, молодая, на лицо еще круглей нынешнего была, щеки у меня от холода малиновые, шубейка меховая — как есть снегирь. Тоже засмеялась. От того смеха сразу к нему и приросла. На всю жизнь.

Захотелось и Марте про своего мужа хорошее сказать.

— Родье тоще веселый был.

— Нет, Аникей веселый не был. Редко смеялся. Только когда со мной...

И Агафья надолго замолчала. Не до разговоров было и Марте, вся ее сила тратилась на ходьбу.

Вышли к большой, но сильно облупленной церкви, где на паперти рядком сидели, жалобно гнусавили нищие. Свекровь подошла к одному, совсем еще подростку, с белыми бельмами на глазах. Нагнулась, пошептала.

Тот кивнул, поднялся.

Пошли с ним.

Слепой сказал, что звать его Минька, а прочего Марта не поняла, очень уж быстро он тараторил. Узнав, что одна из баб немая, мальчик развеселился.

— Я без глаз, она без языка. Немая да слепой каши не сварят.

«Каша» — это *teelrap*, вспомнила Марта. И очень захотелось есть.

— Э, да ты еще и колченогая, что ли, тетка? — спросил Минька, потому что она все время отставала. — А пищит у тебя что?

Агафья объяснила про новорожденное дитя.

— Подохнет в дороге, — сказал паренек, — но это июля Божья.

Слово *podokhnet* Марта не знала и не встревожилась.

Они шли через широкое пустое место, рассеченное полосой кустарника. Там, кажется, протекала маленькая речушка или, может, ручей. Свекровь оглянулась назад и процедила что-то короткое, злое.

Слепой рассмеялся:

— Эк ты, тетя, по-жеребиному-то. Гляди, старец такого не любит.

— Идет за нами кто-то. Я еще у церкви заметила. Не преображенский ли? — ответила Агафья, и мальчишка смеяться перестал.

— По улице шли — прятался, а тут негде, — продолжила свекровь, больше не оборачиваясь. — Ну-ка, проверим. Отстанет иль нет? Марфа, наддай!

Взяла за руку, потянула, и Марта поняла: нужно идти быстрее.

Полушагом, полубегом добрались до кустов. Те раступились, пропуская тропу, и показался узкий мосток, под которым журчала высокая и темная октябрьская вода.

— Шпынь это! Беда!

Spion!

Вдали, на поле, маячил тощий, длинный человек в заломленной шапке. Видно, он сообразил, что разгадан. Повернулся к домам, свистнул в два пальца, что-то

крикнул. Оттуда, от заборов, выскочили еще двое, оба в синих кафтанах, с саблями.

— Что там, тетенька? — спросил Минька.

— Бери Марфу за руку, бегите. Я преображенных малость подержу.

Агафья повернулась назад, стоя посередине мостка. Правую руку держала за спиной. В руке — невесть откуда взявшийся нож.

— Беги, дура! Чего встала? — рыкнула она на невестку.

И Марта побежала, одной рукой держась за Миньку, другой прижимая младенца.

Люди, которые убили мужа и свекра, теперь хотели сделать плохое и им с матушкой, это-то было ясно.

Бежалось трудно. Каждый шаг отдавался болью, слепой спотыкался, несколько раз чуть не упал. Впереди снова начинались заборы. Прежде чем их достичь, Марта обернулась дважды.

В первый раз увидела, как человек в заломленной шапке хватается Агафью за плечо, а потом с воплем падает в воду.

Во второй раз, уже близ самых домов, посмотрела: свекровь пятилась по доскам, выставив вперед руку с ножом, а на нее, махая саблями, напирали синие.

— Тута... где-то... яма... Я раз в нее свалился...

Паренек задыхался, тыкал пальцем вправо. Марта увидела не яму, а канаву, заваленную мусором и по краю обросшую сухой, мертвой травой. Ясно: нужно спрятаться, потому что не убежать.

Помогла слепому спуститься вниз, а сама, из-за того что держала дочку, потеряла равновесие и упала на кучу гнилых отбросов. Как больно!

Но стонать было нельзя и некогда. Набросала всякой дряни на мальчика, зарылась сама.

Только распластались — топот.

— Зря ты ее зарубил! — говорил один бегущий. — Живьем надо было!

Второй крикнул:

— Она, стерва, Хрипуна насмерть положила!

Младенец пискнул, но те, слава богу, из-за бега и пыхтения не услышали, а Марта поскорей зажала младенческое личико ладонью.

Шаги удалились, но Минька шепнул:

— Лежим, баба. Они тут теперь долго шастать будут. Шутка ли — шпыня преображенного порезали. Терпим дотемна. Раньше вылезать боязно.

Что надо оставаться в канаве долго, до темноты, Марта поняла и кивнула. Лежать — это хорошо. Бежать и даже идти ей было бы трудно. По ногам текло горячее и всё не прекращало. Она оторвала от платья рукав, запихнула вниз.

Хотелось спать. Марта прижала к себе ребенка — с ним было теплей. Начала задремывать. Уснула.

Разбудил ее толчок в грудь — болезненный из-за накопившегося молока. Слепой не видел, куда тычет кулаком.

— Эй, немая! От ты кровяной несет, всё шибче. Ты это, не помрешь тут?

Было очень холодно. Никогда еще она так не мерзла. Зубы стучали, пальцы одеревенели. Рукав под юбкой был весь мокрый.

И уже смеркалось. В северной стране октябрьские дни короткие.

— Один из тех давеча мимо прошлепал. Бормотал матерное, я голос узнал. Всё ищут. Темно уже или как? Ты кивни.

Коснулся рукой ее лба. Марта немного наклонила голову.

— Тогда пойду. Отсюда недалеко. Кого-нито приведу с «корабля».

Она полежала еще, мерзла теперь меньше, а сон все наплывал, тянул за собой. Марта покормила дочку, клюя носом. И сразу потом уплыла. Ей снилось ночное море, наверху звезды, и всё хорошо. Вода холодная, но мягкая, словно перина. Тонешь в ней, тонешь, а дна нет и нет.

Так потом толком и не проснулась. То выныривала, то снова погружалась в мягкое.

Куда-то ее вели в темноте, с двух сторон взявши под руки. Приговаривали:

— Тихонько, милая. Тихонько, убогая.

После зажегся огонек.

Стол, на нем свеча, в озаренном круге бородатое лицо. Седой, но нестарый мужчина, читал вслух по книге загадочное, еще более непонятное из-за того, что шепелявил. В черном рту белел единственный зуб. Чародей, сонно подумала Марта.

— ...А в се лето от сотворения мира семь тыщ двести шестое возымел Антихрист облую силу, поселился в царском тереме и стал творить на Москве что ему восхотелось, и мнози погибоша, а иные мнози устрашась зашатилися и отдались рати сатанинской, погубив души своя. Но быша и те, кто, подобно спутникам праотца Ноя, погрузились на ковчеги непотопленные и пустились по волнам к Северной Звезде, чая мира и спасения...

— Авенир, — сказал женский голос. — Стрельчиха немая отходит. Белая вся, крови в ней не осталось.

— Завидуйте. Скоро будет с Господом, — сурово ответил чтец.

— Как хоть звать ее? И дите. Кого поминать? Спознать бы.

— Как же спознать, коли она немая?

И снова Марта уплыла в синюю глубину, а вынырнув, увидела бородатого совсем близко над собой.

Ты слышать-то слышишь?

Кивнула.

— Тебя как звать, раба Божья? За кого отходную читать? Ты ведь не из простых? Вон, телогрея у тебя белничья, сапожки сафьян. Может, ты письму обучена?

Она опять кивнула. Даже легкое это движение давалось с трудом.

— Эй, бумаги листок! Грифель!

Перед лицом у Марты возникла желтоватая поверхность. Кто-то согнул ей руку в локте, сунул стержень.

— Пиши имя, отчество.

Еле-еле, криво вывела: «Марѡа». И рука упала.

— Ничего, хватит имени. Помянем рабу божью немую Марфу. А дочку покрестить успела?

Покачала головой.

— Ничто, покрестим. А там пускай и помрет, уже не страшно.

— Спроси, Авенир, как дочку назвать, спроси, — доносилось откуда-то.

Напиши, как дочь наречь. Имя какое дать?

Очень медленно, большими буквами, белые пальцы вывели на листке «Ката» и разжались.

Рука опустилась, грифелек выпал.





ТОЛМАЧ БУДАНОВ

Санкт-Петербург. Третий год эры Праведной Добродетели

Старшего толмача Посольской канцелярии Буданова с утра вызвали в Преображенский приказ. Начальник сказал: «Они иноземца какого-то взяли, допрашивать будут. Ты, Артемий, перевод гаагской мемории пока отложи и, не мешкая, ступай на Троицкую. Сам знаешь, преображенские ждать не любят».

Буданов был к таким делам привычный. В грозном приказе его ценили за трезвость, старательность и неболтливость. Что бы он там ни увидел, что бы ни услышал, нипочем не разнесет.

Взял Артемий тетрадочку, свинцовое писальце, надел тертую треуголку, накинул суконный плащ и пошел себе, благо дорога недлинная. Преображенский приказ находился здесь же, на Городском острове: пройти от Набережной линии меж присутствиями и гвардейскими казармами, у деревянного Свято-Троицкого храма повернуть налево — и вон они, полосатые черно-белые ворота с караульней.

Три года назад, когда Посольская, тогда еще Походная канцелярия переехала из Москвы, здесь повсюду были строительные ямы да леса, а ныне уже становилось похоже на город. Поговаривали, что готовится указ — объявить Санкт-Петербург столицей. Поверить в такое было трудно, хотя при государе Петре Алексеевиче удивляться все давно разучились.

Главные стройки теперь шли на той стороне большой Невы и на Лосином острове, а тут, в центре, стало прилично, чисто, две главные улицы даже замощены — но позднеосенней слякоти отрадно.

Буданов хоть и торопился, однако пошел не напрямки, а углом, чтоб получилось дощатыми тротуарами, без грязнения башмаков. Толмач был невысок и коротконог, но шагал споро. Пять минут спустя был уже на месте. Назвался дневальному служителю, спросил, куда ему. Был направлен в четвертую пытошную, в распоряжение дознавателя Семена Гололобова. Буданов вздохнул (не любил, когда пытаются), но делать нечего, отправился.

Гололобов сидел на крыльце пытошной избенки, курил трубку.

— А, — сказал, — здорово, Буданов. Всё шуришься?

И засмеялся. Он эту шутку с Артемием всегда шутил. Семен был из старых преображенских подьячих, в свое время еще мятежных стрельцов на дыбе ломал. Сам князь-кесарь Ромодановский его знал и помнил. Завидев, всегда говорил: «А-а, губастый, не подход еще?» Гололобов этим гордился. Нижняя губа у него, правда, была вислая, мокрая — он часто, особенно в возбуждении, ее облизывал.

— Кого допытывать будем? — спросил Артемий, пожимая знакомцу руку.



— В гостинице «Виктория» остановился приезжий мекленбуржец, якобы по торговому делу. Нумерной слуга, из наших доводчиков, как положено, стал в вещах рыться — нашел листок, писанный непонятной цифирью. Есть подозрение, не шпион ли.

— Мекленбуржец по-немецки говорит, а я немецкого не знаю, — удивился Буданов. — У меня голландский и шведский. Забыл ты?

— Мекленбуржца мы не трогали. Он из Любека кремни пистольные на продажу привез. Вдруг правда купец? Государь осерчает. Взяли пока слугу. Он голландец, звать Адрияном. С ним и потолкуем. Расспросим про хозяина.

— После того как ты потолкуешь, он калекой станет. А вдруг зря заподозрили? Как такого возвращать будете?

- Никак. Пропал человечешко, и ладно. Велика ль важность? Купец другого слугу наймет.

Больше про это Артемий спрашивать не стал. Знал, как работают преображенские.

- А что ты тут посиживаешь? Где голландец-то?

- Там. — Семен кивнул на дверь. — Привязали к лавке под дыбой. Пусть пока полежит, потрясется. Горючей будет. Все равно без толмача его не поспрашиваешь. Ладно. — Поднялся. — Идем, что ли.

На грубой скамье, лицом кверху лежал прихваченный веревками человек, по пояс голый. Был он сильно рыжий, того огненного оттенка, который встретишь только у голландцев, и то нечасто. Голова будто костер, а на груди словно рассыпана апфельцыновая кожура. Человек был бледен, на лбу испарина, выпученные глаза уставились на вошедших с ужасом.

— Сначала поговори с ним, как ты умеешь, — сказал Гололобов нарочно грозным голосом, свирепо скалясь на арестанта. — Может, без пристрастного допроса всё расскажет, как та шведская полонянка, метреска князя Репнина.

— Попробую.

Буданов взял табурет, сел рядом со связанным.

— Послушай меня, Адриян, я тебе не враг. Этот человек будет тебя мучить, если не узнает то, что ему нужно. А хочет он выяснить, не шведский ли шпион твой хозяин. Будешь запираяться, живым отсюда не выйдешь. Виноват, не виноват — изломают, обожгут огнем, а потом мертвое тело кинут в болото.

— Я ничего не знаю, минхер! — дрожащим голосом пролепетал слуга. — Господин Штаубе нанял меня перед самым отплытием! У него заболел лакей. Господин

Штаубе переманил меня у прежнего хозяина, купца Ханса Ван Нотена, потому что увидел, как хорошо я чищу платье. А что он за человек, господин Штаубе, и правда ли купец или еще кто, я знать не знаю, клянусь вам! Пожалуйста, поверьте мне!

— Я что? Я переводчик. Надо, чтобы следовательно тебе поверил, — объяснил Артемий. — И если ты будешь твердить, что ничего не знаешь, висеть тебе на дыбе. Лучше наври ему что-нибудь. Скажи, что служишь купцу недавно, но его поведение и тебе кажется странным. Мол, встречается с какими-то людьми, шушукается непонятно о чем. Предложи за хозяином шпионить и всё докладывать. Тогда пытаться не будут.

— А что будет потом? Они же меня в покое не оставят! — всхлипнул слуга.

— Попробуйся на какой-нибудь корабль и уноси отсюда ноги. А господина Штаубе предоставь его собственной судьбе.

Голландец был хоть и до смерти напуганный, но не глупый. Хороший совет принял, всё, что нужно, сказал — Буданов еле успевал чиркать в тетрадочке писальцем, чтоб ничего при переводе не упустить.

Гололобов остался очень доволен, Адрияна расцеловал, выдал шкалик водки и полтину денег. Переманить вражьего шпиона у преображенских считалось великой удачей.

Потом, уже без голландца, Семен еще долго не отпускал благодетеля. Достал закуску, сделался говорлив.

Водки Буданов пил мало, только для виду. Терпеливо ждал, когда можно будет уйти, не обидев. Думал: скоро ль закончится эта докука.

А это была не докука. Оказалось, что это долгожданный просвет в лабиринте, которым толмач По-

стольской канцелярии проблуждал пятнадцать лет и из которого уже не надеялся когда-либо выбраться. То есть надеяться-то, конечно, надеялся, но рассчитывать не рассчитывал.

Через полчаса похвальбы и гаданий о будущей награде раскрасневшийся от водки Гололобов сказал:

— Волос-то у Адрияна какой, а? Огонь. Сколько лет на свете существую, а допрежь только один раз такой видывал. И то не у живого человека.

— Как это не у живого?

— У покойницы. После стрелецкого бунта ловили в Москве одного беса-раскольника, который на север стрельчих уводил. Накрыли ихний схрон в Огородной слободе. Поздно только, людишки все разбежались. Осталась лишь одна баба, мертвая. Волосищи — как у того, в тот же цвет. Разметались по полу, будто жидкий огонь. А на груди у мертвой бабы пищит младенец, живой. Жуть! Чего я только на службе не повидал...

Выпил, крикнул.

— Куда младенца дели? — рассеянно спросил Артемий, думая о своем.

— На кой он нам? — удивился преображенец. — Там и оставили... Дикие они, раскольники. Вот у тебя на груди крест висит, так? У меня тож. И у всех. А у бабы мертвой знаешь чего на шее было? Орех на нитке, ей-богу. И на нем, на орехе, человечек вырезан. Тьфу, пакость!

Узкие глаза Буданова вдруг стали расширяться, редкие брови поползли вверх, ко лбу, посередине которого темнела большая точка, все принимали её за родинку.

Сразу же после того толмач зажмурился, ослепнув от лучезарного света кармы.

Удивления не было. В глубине души Артемий знал, что когда-нибудь это произойдет. Придет нужное вре-

мя — и случится. Потребны лишь терпение и твердость духа. Того и другого в Буданове было достаточно.

— А как беса звали, которого ты тогда ловил? Помнишь? — тихо спросил толмач.

— Старец Авенир. Так и не поймали его. Увел-таки своих куриц на погибель. Ох, упрямые они, раскольники. Намертво держатся за свое пустоверие, за отсталость, за убогую скудость. Вот посмотреть на ихние молельни и на наши православные храмы, а? Иль сравнить ихних рваных проповедников и наше священство. Даже ты, азиат, японец, и то понял, что православная вера лучше, а они русские, но не понимают. Скажи, хуже тебе стало, что ты покрестился?

— Лучше. Мне очень хорошо, — искренне ответил Буданов.

— То-то. И служба тебе государева, и кормление, и почет, не говоря о спасении души. Японец — и тот понял! А они, дурни — никак.

Артемий встал.

— Пойду я. Благодарствую за угощение.

— Ага. Ты странички из тетрадки, где записывал, вырви и отдай. Сейчас, при мне. Сам знаешь — порядок. А завтра сызнава тут будь. Надо еще шведа одного пленного поспрашивать.

— Приду, куда ж я денусь, — кивнул Буданов, хоть знал, что его толмаческая служба окончена.

* * *

На квартире, которую он делил с младшим толмачом той же Посольской канцелярии Яковом Иноземцевым, Артемий снял парик, почесал перед зеркалом

круглую, гладкобритую голову, помял мясистые щеки. Торжественно-приподнятое настроение, которое всякий раз охватывало Буданова при соприкосновении с Чудом Пути, не мешало думать, прикидывать дальнейшее.

Собственное лицо — широкое, неопределимого возраста, узкоглазое, да еще голое, нисколько не русское — Артемию не понравилось. Оно сулило лишние трудности. Впрочем, ему было не привыкать. Впереди зима, думал он, макушку можно прикрыть шапкой, а к весне нарастет щетина. Появится и какая-никакая, пускай жидкая бороденка. С глазами ничего не сделаешь, но мало ли сейчас по Руси бродит всякого окраинного люда, сметенного с исконных мест царскими замыслами? Башкиры, татары, калмыки, ногайцы.

— Ухожу я, — сообщил Буданов сожителю, когда тот вернулся со службы. — Путь долго петлял, водил меня кругами, но наконец распрямился. Появился след. Хоть и старый, но это лучше, чем никакой. Пойду по нему. Будь за меня рад.

— Я рад, — сказал Яша, и по его свежему, юному лицу потекли слезы. — Значит, нам пришло время расставаться?

Иноземцев раньше был швед, ротный гобоист в Уппландском гренадерском полку короля Карла. Тринадцатилетним попал в плен под Переволочной. Буданов забрал к себе подростка четыре года назад, во время триумфального парада в честь Полтавской виктории, когда через Москву гнали десять тысяч шведов. Артемий тогда получил от канцлера графа Головкина грамотку, по которой мог взять любого нижнего чина из пленных в учителя шведского языка. С голландским в канцелярии работы было не так много, а переводчиков

со шведского не хватало. Старший толмач думал отобрать кого-нибудь зрелого, с развитым, мыслящим лицом, но в конце концов пожалел трясущегося от холода мальчишку с деревянной дудкой в руке.

Ничего, научился и у мальчишки, языки Буданову давались легко. А Якоб так же быстро выучился по-русски, покрестился в православие и тоже поступил на службу. Имя ему оставили почти такое же, поменялась только одна буква, а фамилию дали «Иноземцев», потому что в канцелярии было уже два Шведовых: Шведов-первый и Шведов-второй.

Кроме русского языка, парень обучался у Артемия и другим знаниям, еще более важным. Например, долго не предаваться унынию.

Поэтому слезы он почти сразу вытер и попросил за них прощения. Буданов уже знал, что последует дальше.

— Учитель, ты ведь вернешься?

— Вряд ли.

— Тогда позволь пойти с тобой.

Артемий укоризненно покачал головой.

— Это мой Путь, не твой. Чему я тебя учил?

— Мысль о расставании мне невыносима, — тихо сказал Яша.

— Я останусь с тобой вот здесь. — Старший толмач легонько постучал младшего по лбу. — А все остальное иллюзия. Забыл?

Он быстро собрался в дорогу, и четверть часа спустя уже был у переправы через Неву, чтобы потом по Большой Перспективе попасть на Новгородскую дорогу.

Жизнь, в которой этот человек звался Артемием Будановым, завершилась.

* * *

Самое первое свое имя, из раннего детства, он забыл. Вообще ничего из той поры не помнил, лишь какие-то смутные, словно выплывающие из туманной дыбы видения: большое женское лицо, напевающее песенку с непонятными словами; ощущение своей крохотности на морском берегу; вечное голодное подсасывание под ложечкой. Это был сон бессмысленный, рассветный, когда разум еще очень далек от пробуждения. Зачем помнить всякую чепуху?

Следующую жизнь, под именем Петруса Аапа, следовало отнести к разряду кошмаров. Мальчишка-сирота попал в голландскую факторию, тогда еще находившуюся в его родном городе Хирадо, и служил там прислугой за всё, осыпаемый затрещинами и подзатыльниками, юркий, вечно готовый забиться в щель, как мышь, или вскарабкаться на ветку, как мартышка. Прозвище «Аап», собственно, и означало на языке чужеземцев «мартышка».

Просыпаться он начал только на тринадцатом году жизни, когда попал в Храм, где таких новичков учили смотреть, слышать, думать, чувствовать — готовили к поискам Пути. В это время подросток носил временное имя Докю, которое и определяло его тогдашнюю суть: Взыскующий Пути.

Еще несколько лет спустя Путь определился. Склад личности, природные качества и внутренние устремления позволили юноше войти в число немногих избранных. Он стал Хранителем и получил новое, теперь уже настоящее, вечное имя Симпэй, Истинный Воин. Иероглифом 兵, «воин», заканчивались имена всех Хранителей, и в знак того, что это прозвание пожизненное,

другого уже не будет, оно татуировалось на лбу — так мелко, что непосвященным надпись казалась родимым пятном. Точно такой же знак был на челе у Курумibuцу, Орехового Будды, которого Симпэй и его собратья оберегали от зла, прежде всего от «вторых», тысячу лет зарывшихся на священную реликвию.

Но не того следовало остерегаться. Всё зло в жизни не от врагов, которые существуют лишь для того, чтобы испытывать и закалять твою силу, а от попутчиков, не удержавшихся на Пути. Это вообще самое страшное и печальное, что может произойти с человеком: увлечься химерой и свернуть со своей дороги.

Преподобный Дораку, блюститель Семи Покровов, единственный монах обители, который имел постоянный доступ к реликвии, поскольку совершал перед ней еженедельный обряд Воскурения Ароматов — в благоговейном уединении, за сомкнутыми дверями, — увлекся ярким, но пустым сном. Кто мог ожидать, что этот умудренный, тихий, просветленный человек способен на подобное? Конечно, у всякого бывают соблазнительные сонные видения, от которых не хочется пробуждаться, бывали они и у Симпэя, но чтобы целиком уйти в химеру, отвергнув Путь? Невообразимо! И тем не менее это случилось.

Другая жизнь поманила монаха Дораку своей неиспытанностью. Он испугался, что умрет, так и не изведав ее радостей. Стал жадно вкушать их — и ушел в них весь. Однажды, когда пришло время очередного воскурения, преподобного Дораку не смогли нигде найти. Открыли Покровы и увидели, что Курумibuцу под ними нет.

Вины Симпэя тут не было. Хранители обучены охранять реликвию от внешней угрозы, а не от измены — ведь

ли тысячу лет ничего подобного ни разу не бывало. Но шина — это когда ты сам себя считаешь виноватым, даже если другие тебя ни в чем не винят. Симпэй знал, что пошлен в слепоте. Из-за этого он провалил свой долг, поджег Храм и предал Курумибуцу, Орехового Будду.

Резкий поворот судьбы не означает, что твой Путь прервался — лишь что он меняет свое направление. Симпэй понял: его миссия — найти и вернуть утраченную святыню, даже если ради этого придется обойти всю Японию.

Оказалось, однако, что дорога будет длинней, чем представлялось вначале. Намного, почти невообразимо длинней.

...След Орехового Будды со временем отыскался, загадка исчезновения разъяснилась.

Однажды Симпэя вызвал отец-настоятель и объявил, что заблудившийся в пустых снах Дораку передал реликвию не «вторым», как подозревалось ранее, а голландским варварам, что живут на острове в Нагасаки. Но Орехового Будды там уже нет. Помощник главного голландского купца Ванау-торуно увез Курумибуцу-саму на корабле в свою далекую страну, на другой конец света. Варвары рассчитывают получить за реликвию торговые привилегии от сёгуна, но нельзя допустить, чтобы Ореховый Будда оказался в руках у низменной земной власти.

Еще не дослушав рассказ святого старца, Симпэй понял, почему избран из числа Хранителей и что от него потребуется. В детстве и отрочестве, прожив несколько лет среди голландцев, он выучил их квохтающий язык, обычаи и молитвы.

— Твой Путь будет долог, извилист и труден, — сказал настоятель. — Но кроме тебя пройти его некому. Найди и верни Курумибуцу-саму. Это завидная миссия. Даже если ты ее не выполнишь.

* * *

Так он на время перестал быть Симпэем.

Новое имя — Тимм Япанер — он получил на голландском корабле, куда пробрался тайком в Нагасаки. Такое иногда случалось. Подданные микадо, скрывающиеся от правосудия или кровной мести, а иногда просто одержимые жадой увидеть мир за пределами За-



крытой Страны, вплавь добирались до готовящегося к отплытию судна, карабкались по якорной цепи и прятались в трюме. В открытом море, вдали от японских берегов, можно было вылезти из укрытия. Рук на кораблях всегда не хватало.

Флейт «Синт-Иеронимус», несущий на грот-мачте гордый флаг Ост-Индской компании, шел домой девять месяцев, с заходом в Батавию, Индию, в огиб Африки. Времени было довольно, чтобы вспомнить подзабывшийся язык, привыкнуть к странному миру других отношений и взглядов, а главное — поразиться широте и многообразию мира Будды. Ровно настолько же богаче и разноцветней стал мир самого путника.



Ко времени прибытия в Амстердам команда флейта на две трети состояла из азиатов и негров, Тимм Япанер считался в ней старожилом и поднялся до *обермата*, а перед сходом на берег капитан даже предложил ему в следующем плавании место боцмана и хорошую долю прибыли.

«Спасибо, минхер, я подумаю об этом», — сказал Тимм, хотя думал в этот миг, конечно, совсем о другом.

Выяснить, где проживает бывший *фицеопперхофт* Дэдзимской фактории, а ныне *бевиндхеббер* Хендрик Ван Ауторн, было легко. Два дня Тимм провел около узкого, высокого дома на Господском канале — наблюдал, как там и что. Убедился, что хозяин не в отъезде, изучил привычки жильцов. На вторую ночь, когда дом уснул, вернулся в черном костюме и черной маске, чтобы сливаться с темнотой. Проник внутрь, осмотрел все помещения, никого не разбудив и не потревожив. Единственным местом, где могла храниться реликвия, был запертый хитрым замком сундук. Сундук прятался под кроватью, на которой храпел *бевиндхеббер* и сопела его супруга. На столике оплывала, покачивая огоньком, пузатая ночная свеча.

Женщину Тимм усыпил покрепче, прижав соответствующую точку на шее, а мужа разбудил. Если Курумибуцу-сама не в сундуке, а находится в каком-нибудь хранилище Ост-Индской компании, знать это мог только Ван Ауторн.

Толстяк, конечно, очень сильно испугался, увидев над собой узкие глаза в прорези черной маски. Вообразил, что до него добрался *ниндзя*. Голландцы любят выдумывать всякие небылицы про таинственную секту «крадущихся».

— Только не убивай! — сразу взмолился *бевиндхебер*. — Ты понимаешь по-нашему? Не убивай меня! Я не виноват, я только выполнял волю *опперхофта* Де Воса! Это он все придумал, не я! А Будду я отдам. Прямо сейчас...

И слез с кровати в ночной рубашке и колпаке, встал на четвереньки над сундуком. Плакал, приговаривал: «Не убивай, не убивай меня...». Никак не мог установить правильные цифры — тряслись руки.

Тимм ждал, охваченный торжественным спокойствием, готовился к встрече с Курумибуцу.

Теперь дорога повернет назад, к дому. Через три или четыре недели «Синт-Иеронимус» поплывет обратно в Японию. Ореховый Будда найден. Миссия исполнена. Вот и всё.

Но он ошибся.

Ван Ауторн покопошился в сундуке, позвенел серебром, пошуршал какими-то бумажками, потом вдруг вскрикнул.

Вылез, держа в руке открытую лаковую шкатулку. Она была пуста. Глаза голландца взирали на пустоту с ужасом.

— ...Я клянусь... Фигурка была здесь... Не представляю, куда она делась... Сейчас, сейчас...

И снова полез искать в сундуке, а Тимм взял коробочку, испытывая благоговейный трепет. Здесь, в маленьком вместилище, обретался Ореховый Будда. Что Курумибуцу-сама загадочно исчез, путника не удивило. Никто не обещал, что Путь будет простым.

Внезапно что-то блеснуло, отразив огонь свечи. К крышке пристал длинный волос. Женский, необычного цвета.

— Кто это — женщина с оранжевыми волосами? — спросил Тимм.

Бевиндхеббер выпрямился.

— Ах, вот оно что! Это Марта! Марта «Пороховой Погреб»! — Испуганно покосился на спящую жену, понизил голос. — Моя... *юдзё*, — употребил он японское слово для обозначения куртизанок. — Она была здесь недавно! Она и украла, больше никому!

Тут Тимм вспомнил, как позавчера, когда он только начал наблюдать за домом, оттуда выскочила женщина с огненными волосами. Лицо у нее было бледное, глаза горящие. Женщина побежала прочь по набережной.

По адресу, который назвал Ван Ауторн, куртизанки не оказалось, она съехала накануне, не сказав куда.

День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Тимм пытался выйти на след воровки. Расспросил всех, кто знал Марту Крюйткамер — и в окрестных лавках, и в порту, и в музыкальном салоне, где она раньше служила. Даже наведалься в ее родную зеландскую деревню, но там Марту никто не помнил.

Женщина с оранжевыми волосами пропала, будто никогда и не жила на свете или всем приснилась.

Отчаиваться Тимм не умел. Идущие по Пути не ведают отчаяния. Они знают, что верность, усердие и терпение преодолевают всё и что главный смысл Пути — не достижение цели, а сама дорога.

Тот период ожидания продлился без малого год. Тимм прибыл в Амстердам и подержал в руках опустевшее обиталище Орехового Будды в первый месяц 11 года Первоначальной Радости, а вновь слабый свет засиял только в начале следующей зимы. Курумibuцу-сама вознаградила преданность своего Хранителя, прислал ему весточку.

В город вернулась Мартина подружка Фимке Фригску, которую Тимм тоже долго и тщетно разыскивал. От нее стало известно, что оранжевая куртизанка не растворилась в Пустоте, а вышла замуж за московитского дворянина и уехала в страну, о которой в своей прежней, японской жизни Хранитель даже не слыхивал.

Что ж, это всего лишь означало, что горизонт отодвигается. Дорога растянется еще дальше.

* * *

Попасть в Московию, которую также называли *Rusland*, было нетрудно. В Гааге комиссар царя Петера набирал на русскую службу всех, кто соглашался ехать. Про Японию и японцев этот чиновник ничего не знал, но ему хватило, что волонтер — опытный моряк.

От корабельной службы, прибыв в свое новое отечество, Тимм уклонился. Ему нужно было оставаться на суше, в Москве. Язык он выучил быстро и скоро нашел место переводчика с голландского, тем более что флота у царя все равно пока не было. Перешел в местную веру и опять поменял имя. Называться в новой жизни по-старому — большая ошибка. Многие из-за этого ходят кругами и не могут найти свой Путь.

Новообращенца крестили Артемием, а фамилию он выбрал сам — в честь Будды, о чем никто вокруг, конечно, не догадывался.

Пока всё это устраивалось, Хранитель искал след Марфы Трехглазой (поменяла свое имя и оранжевая куртизанка), но та снова сгинула, теперь уже, казалось, навсегда. Семья, в которую она попала, вся погибла во время казней после стрелецкого мятежа. Голландку с

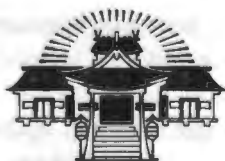
приметными волосами никто не видел и не помнил. Она точно добралась до Москвы, но потом необъяснимо исчезла.

После этого жизнь растянулась прямой, бесконечной лентой. Горизонт был тускл, никакое сияние его не озаряло, но Артемий не роптал и не падал духом. Он знал: Ореховый Будда его испытывает и однажды вознаградит за стойкость.

Одиннадцать лет проведено в Москве, еще три года в новой столице. За это время в Японии закончилась эра Первоначальной Радости и началась эра Процветающей Вечности, о чем Буданов узнал с большим опозданием от одного заезжего негоцианта, торговавшего с Нагасаки. Но завершилась и Вечность, теперь шел третий год эры Праведной Добродетели, а Курумибуцу-сама всё не звал своего Хранителя. Надежда жила в душе, но слабела, как новорожденный младенец, всеми брошенный в темном погребе. Однако всё же держалась, не умирала.

И вдруг в кромешном мраке засветился слабый луч.

Путник скинул с себя кожу толмача Буданова, вернувшись в состояние Истинного Воина Симпэя. И пошел к свету.





КАТА

■ Писма. 7222 г.

— Пришла наконец? — сердито молвил князь. — Садись, пиши. И сразу начал диктовать. Спал он по немолодым своим летам плохо, за ночь накапливались мысли, требовали бумаги.

Ката вошла в вивлиофеку, как полагалось, со звоном часов, ровно в семь, но, привычная к утренней нетерпеливости старика, не заспорила, а сразу обмакнула лебяжье перо в чернила.

— «Добавлено к прежнему сего 2 мая 7222 года. — (Василий Васильевич не признавал нового летоисчисления, видя в нем проявление ненужной вихлявости перед Европой и постыдный отказ от родной старины.) — Еще и то присовокупить надобно, что, буде новый тот град, воздвигнутый на отдалении от исконных русских земель, сделается стольным и таковым останется, от сего купно воспоследуют две великие беды.

Первая — что город сей, не по-русски строенный и названный, где обитают не по-русски одетые и не по-



русски себя держащие дворяне с приказными, усугубит пропасть меж шляхетством и крестьянством, меж государством и народом, а сие чревато великими потрясениями.

Вторая — что наша великая размером, непомерно растянутая с восхода на закат держава еще более усложнится в правлении, ибо сделается похожа на африканскую жирафу, скотину глупую да несуразную, маленькая голова коей отдалена предлинною шеей от остального тела и плохо им ведает...»

Зверя, рекомого жирафой, Ката видела на картинке в «Атласе всякой земной и морской твари», что стоит на верхней полке, рядом с Пфундорфовой «Гишторией». Разглядывала — думала, что сама она, Ката, такая же: тощая, длинношеяя, лупоглазая, еще и пятнистая (тогда по всей роже прыщи были, потом, слава богу, сошли). Если и Россия — жирафа, не столь обидно.

— Теперь перечти, — велел старик. — Вставлю меж первым и вторым, что нечего было главный морской порт на пустом болоте из ничего ставить, а лучше бы устроить его в Риге, где и город изрядный, и всё готовое, и к Европе ближе.

Слушая бубнеж писчицы, зачитывавшей с листа слух, князь глядел на себя в высокое венецское зеркало. Он всегда диктовал, смотрясь на свое отражение — седой, даже в старости красивый, нарядно одетый, со свежеподкрученными усами. Для «работы» (так назывались вивлиофечные сидения) Василий Васильевич одевался тщательно, по польской моде, как ходили в старые времена: бархатный кунтуш с разрезными рукавами, мелкопуговичная шелковая камиза с кружевами, цветного сафьяна сапоги. Иногда, увлекшись риторией, сдергивал с орлиного носа золотые очки и начинал ими размахивать.

Если б Ката была такой пригожей, как он, тоже любовалась бы на себя в зеркало с утра до вечера. Дома в Сояле, на «корабле», зеркал не было — старец Авенир их не позволял, говоря, что зерцалоглядение суетственно и душемутительно. И правильно. Попав в Шинегу, на подворье к князь-Василию, Ката первый раз посмотрелась, какова она есть в своей наружности, да пригорюнилась. Глаза вроде большие, а в то же время узкие. По носу и щекам рыжие веснушки, хоть при черных волосах их вроде быть не должно. Нос, как у цапли. Рот, как у лягухи. Ужас! Теперь, проходя мимо, от зеркала отворачивалась. Ну его к бесу.

Вставку про морской порт она написала на отдельном листочке, они были изготовлены нарочно для такой надобы. Потом, когда князь утомится и слуга Те-

рентий поведет его завтракать, Ката перепишет надиктованное за утро в Книгу, начисто.

Книга та собою маленькая, с ладонь, но в ней чetyреста страничек особой китайской бумаги, тончайшей и прочной. Писать надо мелко-мелко, чтоб помещалось по пятьдесят строчек. У князя для такого кропотливого дела глаза слабы, на то и нужна переписчица. А еще из-за почерка. Он у Каты был красивей и разборчивей печатных литер.

Свой трактат, именуемый «Книга о гражданском житии или о направлении всех дел яже надлежат обществу», князь Голицын писал уже тридцать лет. Начиная еще в Москве, когда был всего государства оберегателем. Потом случилось Несчастье, про которое Кате многократно рассказано — кроме переписчицы бывшему всея Руси правителю поговорить было не с кем.

Как в семь тыщ сто девяносто седьмом году случилось вечно-неизбывное российское: грубая сила и темная дурость возобладали над милосердным разумом, и пала светлая власть всеблаготворительницы Софьи Алексеевны, а вместе с нею окончилась и потентация князя Василия. Его навек разлучили с дорогой сердцу благодетельницей, предали невежественным, злорасположенным следователям, а трактат изъяли. Однако ж никаких вин и никакого воровства свергнутому оберегателю вчинить не смогли и казнь не казнили, лишь сослали в медвежий угол, под надзор приставов.

Там, в уединении и праздности, Голицын по памяти восстановил трактат, многое в нем поправил и дописал, ибо пережитые испытания делают человека мудрее.

Ныне в Книге оставалось места еще страниц на сорок. Голицын рассчитывал их все исписать, а после спокойно помереть с сознанием исполненного долга.

Он говорил: «Пускай не завтра и даже не через сто лет, а когда-нибудь после, поумнев и созрев, потомки прочтут плод трудных моих исканий и обретут пользу. Тогда-то и вспомнят Василия Голицына, ныне ошельмованного и оболганного». Последняя глава Книги, еще не написанная, по его замыслу, будет называться «Какো России жить по правде и радости».

Старик, конечно, был немного не в себе. Ката его жалела. Однажды она подслушала, как пристав Иван Кондратьевич, досматривающий за ссыльным князем, разговаривал с помощником, сетуя, что службишка совсем захудала, жалованья который год не набавляют, а цены растут. За четверть века в государстве столько всего сотворилось, бывшего оберегателя все давно забыли, а вместе с ним и сторожей, так подход бы старик уж поскорей, что ли.

Царевна Софья истаяла в заточении. Собственные дети Голицына униженно вымолили себе прощение, уехали служить царю Петру, столь нелюбезному их родителю. Василий Васильевич их не вспоминал, он доживал век среди книг и дум об исправлении законов, никому не нужный со своим благомыслием и ученостью. Кроме писчицы у него, пожалуй, никого и не было, разве что слуга Терентий, когда-то поставленный шпионить за князем, но тоже состарившийся и душой приросший к опальному вельможе. Однако Терентий к умному был невнятливым, грамоте не знал и высокими помыслами не увлекался. Он и сейчас сидел в углу, привалившись к сосновой стене, сладко дремал.

— Прежде чем перейду к суждению о губительности безразборчивого заимствования иноземных обычаев, сыщи-ка мне в Платоновых «Диалогах» место о том,

как боги разговаривают с людьми чрез посредство гениев, — велел Голицын.

Ката приставила к полкам лесенку, взяла том, быстро нашла наказанное — оно содержалось в третьей тетралогии.

Все книги были ею сплошь и не раз читаны. Что тут еще делать-то, в Пинеге?

Зрение у князя ослабело до такой степени, что он даже в очках разбирал только крупный шрифт, а прочее ему читала вслух Ката.

* * *

В Пинегу на голицынское подворье она попала вот как.

Когда князю стало трудно писать самому, он приехал в Соялу к Старцу, ибо все в округе знали, что Авенировы чада переписывают старинные книги, которые потом расходятся по всему Северу. Ведали о том, конечно, и власти, кому положено пресекать раскольников книгописание, ведал и архимандрит владычье Богородицкого монастыря, должный бдить за чистоверием, но Русь испокон только тем и выживает, что строгие порядки смягчаются корыстолюбием блюдящих. «Никоняне — не мы, они на злато жадобны», — говаривал Старец, и платил сотскому по пяти рублей в месяц, архимандриту по десяти, и никто сояльский «корабль» не трогал. Никониане со староверами дружку не любили, но как-то уживались.

Однажды позвали Катю к Авениру в Башню. Собрались там и остальные переписчицы, она самая юная. Подле Авенира стоял прямой, седой, красно одетый и



гладкий лицом старик, покручивал ус белой в перстнях рукой, глядел на всех испытующе. Князя Голицына девочка никогда раньше не видела, но сразу догадалась, кто это. Он в здешних краях один такой: большой человек из большого мира — как рыба-кит, ошибкой заплывшая из моря-океана в мелкую речку. Ката росла, слушая взрослые разговоры про опального правителя, при котором истинноверам жилось все же лучше, чем при Петре-антихристе. От Соялы, где находился «корабль», до Пинеги, где указано жить князю, день пешего хода, а конного три часа.

Авенир сказал:

— Садитесь все. Пишите, что его милость говорить будет, елико можно малыми буквицами.

Некое время князь, надевши на лицо чудные стеклянные кружки в золотых проволочках, читал с листа

непонятное. Ката и прочие записывали с голоса, что само по себе было непривычно — обычно перебеливали с какой-нибудь ветхой книги.

После Авенир собрал бумаги, отдал гостю. Тот полистал, ткнул: чья-де эта?

Так Кату и выбрали. Сначала она Василию Васильевичу не понравилась: что совсем девчонка и что собою не лепа. С особенной хмуростью князь воззрился на родинку посреди лба, будто она напомнила ему нечто неприятное. Однако еще раз поглядел в лупу (Ката тогда еще не знала, что это такое) на листок с бисерными, в нитку, строчками. Вздохнул: да, эта гожа.

Сговорился с Авениром, что будет платить за девку по три рубля недельно — щедро. Ката, дурочка тринадцатилетняя, заревела. Другой жизни, кроме «корабельной», она никогда не видала, других людей, кроме своих общинных, не знала, оттого и напугалась. Но Старец с ней проникновенно поговорил, устыдил, напомнил о великой радости саможертвования заради братосестрий своя. Слушая укоризненный шепелявый голос (Авенир был беззуб, ему за крепость в вере царские слуги когда-то вышибли все зубы), Ката устыдилась, покорилась и отправилась в Пинегу, со многим слезоглотанием и носошмыганьем.

Прежняя жизнь у нее какая была? Не сказать, чтоб сахарная, но жаловаться грех. Вокруг, сызмальства, все свои, знакомые. Про себя Ката знала, что она круглая сирота. Отец ее был стрелец, замученный за правду царем-иродом. Мать звали Марфой, она померла родами. Должна была помереть и маленькая Ката, но Бог спас. Взяли ее от мертвой матушки, и нашлась среди «корабельных» кормящая баба (ее после, уже в Сояле, медведь задрал, и ныне она, спасительница, в Царствии

Небесном). От родной же матери остался только оберег, ныне висевший на шее, рядом с крестиком: коришневый заступник с прикрытыми глазами и такой же точкой на лбу, как у Каты. Девочка про себя звала заступника Баюном, потому что перед сном всегда гладила его пальцами, а он ее убаюкивал. Оберег был словно часть ее самой. Сколько себя помнила, столько и его.

А в Пинеге, у князя, она будто с тесного корабля сошла на землю и увидела, что мир несказанно больше и многочуднее, чем она всегда думала.

На «корабле», когда Авенира близко нет, почти всегда говорили только о еде — голодно-вато жили, и не от нищеты, а для умерщвления плоти. При Старце же беседовали только о божественном. Такие же были и книги, которые Ката переписывала: про святых угодников, про Антихриста и Спасителя, про Страшный суд. Она думала, других книг и не бывает. А оказалось, они бывают обо всем на свете.

Сначала-то Ката из диктуемого мало что понимала. У князя была привычка с самим собой разговаривать или спорить — писчица слушала, но в толк не брала, а старик о ней и не помнил. Но год примерно спустя, когда Ката уже прочитала всю голицынскую вивлиофeku по первому разу и пошла по второму, однажды на-смелилась открыть рот.

Василий Васильевич тогда спросил у зеркала:

— Яко же все-таки быть государственному мужу, многая властью и многая ответственностию обличенному, ежели общественное благо понуждает его к свершению некоего злодейства или криводушия? Не сотворишь — повредишь державе и народу. Соделаешь — погубишь свою душу. Помнишь, как тогда отступился, себя пожалев? Как устранился брать царевбийствен-

ный грех на душу? И что же? Душа твоя целехонька, и ждут тебя, малогрешного, врата райские, но доверенная тебе страна во власти беса, и стонет, и страждет, и гибнет. Кто ж ты после этого есть, никого не уберегший оберегатель? Не малодушен ли ты со своим малым душеспасанием? Собственную душу спас, а миллионы душ со всем их потомством погубил?

И загорюнился. Этот вопрос, самому себе задаваемый и всегда остававшийся без ответа, Ката слышала и прежде. Должно быть, он много мучил старика. Но как раз накануне, читая «Речения премудрецов», она наткнулась на некое место, про душевные сомнения. И тихо повторила древние слова, как их запомнила:

— «Человеческому разуму не дано предугадать, какое действие обратится благом, а какое злом, потому что все причины и следствия известны только богам, а сие значит, что в трудных материях последователь Стои руководствуется не голосом ума, но голосом сердца».

Князь уставился на нее, будто с ним заговорила стена или столешница.

— *Ex ore parvulorum veritas!* — пробормотал он.

Ката к тому времени уже изрядно понимала по-латински и обиделась: чего это младенца-то? И потом, вовсе не ее устами была рождена истина, а премудрой книгой.

Однако же с тех пор Василий Васильевич стал с ней разговаривать, и из тех бесед Ката узнавала не меньше, чем из книг.

Ну то есть как — беседовать? Говорил все время князь, она больше помалкивала. Но иногда, если о чем-то спрашивал, отвечала.

По воскресеньям Кате полагалась отлука, ради спасения души — такое условие обговорил Авенир, опасаясь

исъ, что житье вдали от «корабля», среди никониан, соблазнит зеленую девку. В середине дня субботы писчица отправлялась в дорогу, если зима — на лыжах; назавтра в то же время, отстояв утреннее боговосхваление и отсидев обеднее Старцево поучение, шла обратно. Двадцать пять верст ее легким ногам были ни о чем, привольная дорога повдоль реки Пинеги не тяжка даже в метель или слякоть, но молитвенными стояниями, а пуще того Авенировыми пытаниями Ката стала тяготиться. Старец каждый раз уводил ее к себе в Башню, подробно расспрашивал: что князь диктовал, о чем вел речи, да каковы дела на голицынском подворье. Раньше, маленькой, Ката святому человеку соприять боялась бы, потому что утаиться от Старца — это как слукавить на исповеди. Уединенные беседы Авенира и были исповедью. Однако теперь поумневшая девка говорила лишь то, что не во вред Василию Васильевичу и не побудит «кормщика» забрать писчицу обратно в Соялу.

У премудрого Софрония Каппадокийского в «Биономии», сиречь «Жизненной науке», сказано: «Человецы винят иных в своих злосчастиях, а того не ведают, что сами на себя навлекают лихо своим длинноязычным неразумием». По-нашему, по-русски, о том же проще говорят: дурень на языке повесился. Потому Ката рассказывала Авениру, что князь сделался совсем стар и мутноумен, мелет невнятицу, понять которую невозможно, а жизни в Пинеге писчица не знает, ибо по все дни, когда не пишет, запирается у себя в каморке, повторяет святые молитвы да спит. Отдавала Авениру жалованье, выплачиваемое понедельно: три рубля. Старец гладил духовную дочь по голове, говорил строго-ласковое и отпускал. Ката давно уже поняла, что при-

нуждена к хождениям в Соялу из-за денег. Просилась, нельзя ль приходить спасаться раз в месяц, сразу принося все двенадцать рублей, но Авенир на то не благословил. Должно быть, не хотел, чтоб девка таскалась по вечерней дороге с такими деньжищами.

* * *

Сегодня, окончив диктовать предостережение о новой столице, Василий Васильевич, как часто в последнее время, завел рассказ о старине, о временах, когда он был в силе и власти, а полное его титуло (Ката давно выучила наизусть) звучало тако: «Царственныя большія печати и государственных великих посольских дел оберегатель, ближний боярин великой государыни, благоверной царицы и великой княжны Софьи Алексеевны, наместник новгородский и пресветлый князь».

— Еще то помни, — говорил Василий Васильевич, воздевая сухой старческий палец со сверкающим диамантом, — что великая государыня была девица, а девица по русскому обычаю из терема может отлучаться только в храм иль на богомолье.

(Как же Кате было этого не помнить, когда он уже сто раз о том сказывал?)

— ...И правила она, яко из клетки, пускай золотой. Очень тем мучилась, мечтала стать как Лизавета, великая английская королева. И я подготовил прожект о постепенном женском еманципационе, сиречь уравнении, каковое надлежало вводить без поспешания, дабы не возмутить косные умы, в два иль три поколения. На Руси быстро ничего делать нельзя, потому что народ у нас к новому, даже самому хорошему, недоверчив и

медленнопривычен. Ты спросишь меня, как постепенно манипулировать женский пол?

Ката хотела сказать: чего мне спрашивать, когда про это в осьмнадцатой главе «Книги» прописано, но смолчала. Пускай расскажет. У князя, когда он зажил словами, молодело лицо, сияли глаза, и потом он кушал с большей охотой. Ему полезно.

Чтобы не заскучать, Ката стала потихоньку передвигать табурет ближе к окну — смотреть во двор. Голицын, увлеченно вещая о девичьих школах, того манёвра (хорошее слово, из Монтекуколевой «Тактики») не заметил.

Глядеть во двор сначала тоже было не сильно увлекательно. Там приставов мужик Митрошка менял колеса на выездной телеге. В Пинеге, как и в Сояле, до твердой майской земли ездили на санях — по топкой пыльной грязи оно лучше, чем колесами, но солнце жижу уже подсушило, пора было переходить на летний ход. Сам пристав Иван Кондратьевич, зевая, смотрел с крыльца, давал советы. Видно, и ему было скучно.

Изба пристава стояла в той же ограде, напротив голицынского терема, чтобы государев человек всегда присматривал за ссыльным правителем. Но Иван Кондратьевич от князевой щедрости жил хорошо и лишними доуками его светлость не донимал. Иногда говорил Голицыну: «Вот помрешь ты, батюшко, и я за тобой».

Вдруг пристав зашевелился. Привстал на цыпки, стал глядеть через забор, на Архангельскую дорогу. Кате из окошка было не видно, что там, а Ивану Кондратьевичу с его возвышенной позиции видно. Хлопнул себя руками по бокам, убежал в дом.

Ката заинтересовалась, потихоньку толкнула створку. Стал слышен конский топот. Кто-то неся вскачь, приближаясь. Не один верховой, больше.

В открытые ворота влетел, завертелся на месте всадник. Был он весь, сверху донизу, черный. Плащ и треугольная шляпа черные, из-под шляпы — патлы черной перруки, черны и высокие сапоги, именуемые «ботфорты». Конь вороной, роняет с губ пену.

Следом за первым появились еще двое, но не черные, а синие, тоже нерусского платья.

На крыльце снова возник пристав. Он успел скинуть широкий кафтан, облачившись в куцей мундир с медными пуговицами, на голове — косо нахлобученная перрука, на боку шпага, в руке стиснуты белые перчатки.

Черный человек быстро взбежал по ступенькам, что-то говоря и одновременно протягивая некую бумагу. Иван Кондратьевич с поклоном повел приезжего в дом. Двое остальных остались верхи.

Князь Василий Васильевич подошел к окну, стоял рядом с Катой, тревожно хмурясь. Казенных людей, да чтоб пристав так низко им кланялся, в Пинеге не видавали много лет.

— Терентий! Просыпайся! — крикнул Голицын слуге. — Беги в тот дом. Подслушай, о чем толкуют. Что за ворон прилетел, по какому делу? Пошел, пошел!

Терентий кинулся в сени. Что-что, а подслушивать он умел.

Старик взволнованно ходил по комнате.

— Не к добру, не к добру обо мне вспомнили. Донес кто-то о моих записях. Не дадут закончить чаемое и умереть спокойно!

Ката, желая ободрить, сказала:

— А может, сударь, не про тебя это вовсе. Может, гонец доставил приставу некое известие. Вдруг да и хорошее? Что если царь издох?

Вымолвить такое она могла без боязни. Василий Васильевич жаловал государя не больше, чем Авенир, только называл не Антихристом и не Сатаной, а по-латынски «имбецилусом».

Но через невеликое время вернулся Терентий, стоявший у пристава под дверью, и оказалось, что царь Петр не помер и что чужой человек здесь по указу, из самого Петербурга. Называется человек «фискал», а что за слово такое, Терентию неизвестно.

— Знаю! О том было в «Ведомостях» писано! — испуганно вскричал князь. Он выписывал в Пинегу листы-куранты, где печатают царские повеления и новости со всего света. — Фискалы — это новоучрежденные дяки, которые сыскивают всякую крамолу и противозаконность! Иди, Терентий, еще слушай!

Когда слуга ушел, Василий Васильевич кинулся к Кате, голос у него прерывался от слезного дрожания.

— Прознал Петр про мои писания, прознал! Весь плод моей жизни отобрать хочет! Как тогда, на следствии! Дай мне Книгу, пойду ее в тайник спрячу, а ты поклянись страшной клятвой, какая только у вас, староверов, есть, что не выдашь!

Где у князя тайник, Ката знала. В подвале одна из топиц, чем зимой дом протапливают, обманная, и в ней, за кирпичом, железный несгораемый ящик, а ключ всегда у хозяина. Каждый вечер, окончивши диктовку, Голицын запирает туда Книгу, а утром достает.

— Не поспеешь ты, сударь, — сказала она, показывая во двор.

Там, от пристава крыльца, шел черный фискал, быстро выбрасывая длинные ноги. А у Василия Васильевича шаг медленный, подагрический.

— Тогда на себе спрячь! — велел князь. — И сама спрячься. Богом молю, не отдавай Книгу! Сохрани! Не для себя прошу, для потомства! Поклянись!

— Ладно, чего клясться-то, и так не отдам, — буркнула Ката, сунула невеликую ношу за пазуху, огляделась — куда бы спрятаться? — да попросту залезла на холодную по майскому времени голландскую комнатную печь, затаилась там по-за дымоходом. Сверху, из закута, было и видно, и слышно.

Звеня шпорами, вошел давешний всадник. Князь очень похоже обозвал его «вороном». Меж косм перруки торчал горбатый птичий нос, лицо тоже было тощее, костистое. Глаза, правда, не круглые, а щелями. Именно так Ката себе в детстве представляла антихристовых слуг, когда о них, гонителях отеческой веры, сказывал «кормщик».

— Я к твоей княжеской милости из Санкт-Петербурга по государеву делу. Имя мое Мартын Ванейкин, чин — фискал, — невежливо, без поздорований и величаний начал вошедший. Речь у него была резкая, непривычного уху звучания, будто не совсем русская.

— По какому же делу воспонадобился я его царскому величеству? — спросил Голицын, гордо распрямляясь, но сверху было видно, что сложенные за спиной руки дрожат.

— Государю ты сам, старый валенок, низачем не надобен, и к тебе никакого дела у меня нет, — ответил фискал Ванейкин, — а нужна мне девка-переписчица, что тут живет. Веди меня к ней без отговорок и запирательств.

От неожиданности и от испуга Ката дернулась — гулко стукнулась затылком о притолоку. Князь-то оказался в своем опасении прав! Им Книга нужна! И знают, у кого ее искать, донес кто-то! Уж не Терентий ли, мастер подслушивать?

— В уме ли ты, смерд?! — тонким голосом закричал Василий Васильевич. — Ты как со мной говоришь?! Какой я тебе валенок? Я бывый державы правитель! Меня сам Ромодановский на допросе именем-отчеством называл!

Но черный человек смотрел не на князя, а на голландскую печь — прямо Кате в глаза.

— А ну тебя, — сказал фискал Голицыну.

Да развернулся, да двинул Василию Васильевичу кулаком в грудь — вроде и несильно, но много ль старику надо? Князь повалился на пол, а Ката вскрикнула.

— Слезай-ка, — велел ей Ванейкин. — Сюда поди.

Слезть-то она слезла, на печи прятаться смысла уже не было, но пойти к злодею не пошла, а дунула со всех длинных ног к двери, прижимая Книгу к тощей груди, чтоб не выпала. Кукиш тебе, антихристов хвост, а не Книга! Не отдам!

Пронеслась через весь дом до кухни, там перелезла через подоконник, спрыгнула наземь, обежала терем задом и спряталась за поленицу — отдышаться, переждать.

Ух что на дворе началось!

Сначала орал Ванейкин, должно быть, высунувшись из окна:

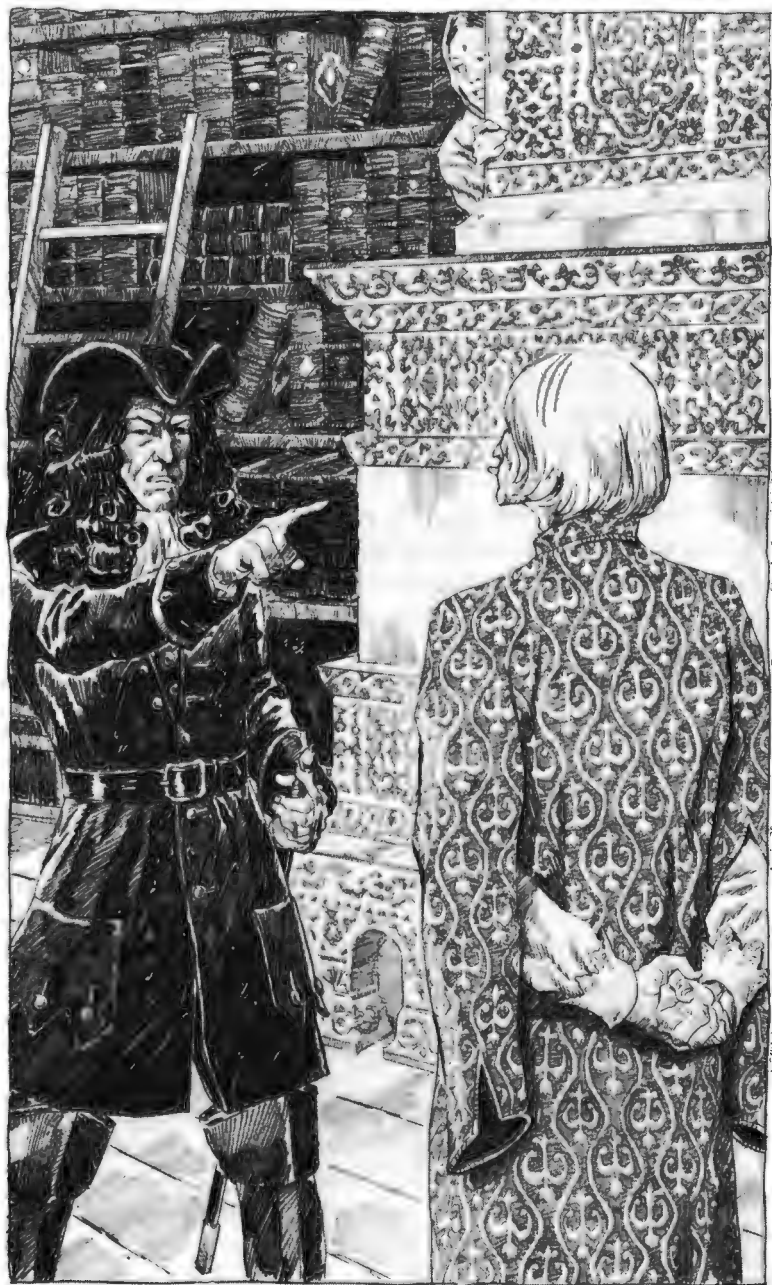
— Федотов, Шепотов! Ворота запереть! Никого не выпускать!

Солдаты, или кто они, зашумели, залязгали.

Еще через малое время из терема донесся вой. Кто-то там громко плакал, и Ката не сразу догадалась, что Терентий.

— Помееер! — выл Терентий. — Князюшка помееер! Бедаааа! Как есть мертвóй лежит!

Заголосила кухарка Настасья. У Каты тоже слезы рекой. Не могла поверить. Только что живой был, про



потомков говорил, перед зеркалом гордился. И всё, нгу? Не от тычка же? Хотя что же — старый старик, и сердце старое, испугался за книгу...

Так ей его жалко стало, бедного — не сказать.

По двору теперь бегали все, кто только есть. Прогонотал к терему и пристав Иван Кондратьевич, ревя по-медвежьи. Его мирная служба заканчивалась.

А только и Кате на подворье делать больше было нечего. Не будет ныне ни многоумных диктований, ни гишгорических бесед. Можно сказать приставу, что князь не просто так помер, а от фискалова удара, но кто ей, девчонке, поверит? И неизвестно еще, кто тут главней — Иван Кондратьевич или этот Ванейкин. Наверно, Ванейкин.

Убегать отсюда надо, побыстрее и подальше. Спасать Книгу, князево завещание потомству.

Что ворота заперты — чепуха. Ката, когда хотелось погулять на воле, через забор легко перемахивала. Так же поступила и сейчас. Приставила жердь, вскарабкалась, а сверху прыгнула.

И помчалась через весенний луг, подняв подол. До леса бы только добраться, он спрячет. Потом домой, к своим, в Соялу. Хранить от антихристовой власти важные книги — это староверы умеют.

* * *

На опушке, добежав до зарослей, Ката оглянулась на место, где прожила два с лишним года и узнала из книг столько предивного. Думала поплакать о старом князе, об отрадной вивлиофеке, о всей своей пинежской жизни, краше и покойней которой, верно, уж никогда не будет.

Но слезы, едва выступив на глазах, сразу высохли.

Ворота казенного подворья, издали казавшегося игрушечным с его острыми кровлями, медной крышей княжьего терема и коньком на стрехе приставова дома, открылись, и оттуда, один за другим, будто летучие мыши, выметнулись всадники. Поскакали через поле, прямо на Катю.

Спознал как-то фискал, что писчица выбралась за ограду. А что Ката из Соялы, то ему пристав сказал.

Бросилась девка глубже в березовый лес, пока еще почти безлистный, выглядывая, где получше затаиться.

Сбоку от дороги, сузившейся в неширокую тропу, росли густые кусты боярышника. Ката к ним кинулась и вдруг увидела, что рядом, на земле, сложив ноги кренделем, сидит странник. Он был бы самым обычным, каких по Руси много ходит, — в рубище, лаптях, латаной шапке, и неперенный мешок с пожитками рядом, но лицо диковинное: скуластое, глазенки узехонькие, а седоватая бороденка не по-русски жидка. Башкирец, наверно, или калмык. Один раз мимо Соялы таких целую толпу гнали — дальше на север. Были то колодники, инородцы-бунтовщики с Волги, и некоторые точь-в-точь такие, как этот. Авенир сказал: «Это им Сатана глаза сузил, чтоб истинного Бога не разглядели, потому и верят в Магомета поганого, тьфу!» Ката тогда была еще глупая, про монгольскую расу не читывала и поверила.

На лбу у странника тоже была родинка, только меньше, чем у Каты, и черная, будто птица клюнула.

— Родименький, если конные спросят, видал ли ты девку, не выдавай! — взмолилась Ката.

Понимает ли нездешний человек по-нашему, она не знала и приложила палец к губам, а после показала назад, откуда неся перестук копыт.

— Смолчишь, я тебе гляди чего дам!

Распахнула ворот платья. Там, на тесемке, малая киса, в ней три рублевика. Если б не нынешняя беда, давтра Кате идти в Соялу. Василий Васильевич уже и недельное жалованье выдал.

Деньги для бродяги огромные, нищий таких, поди, огrodu не видывал, однако щелки глядели мимо лежащего на ладони серебра — в распах платья. А что там разглядывать? Тощие ключицы, цыплячья шея, крестик да матушкин оберег на шелковом снурке.

Пухловекие глаза расширились и уже не казались щелками. Губы зашевелились — сначала беззвучно, потом исторгли некое протяжное речение или, может быть, басурманскую молитву.

Топот был уже близко, медлить некогда.

— Гляди же, не выдавай! — шепнула Ката. — Не то они деньги себе заберут, ничего не получишь!

И юрк за куст, прижалась к земле. Книга, сползшая книзу, вдавилась в живот.

От страха Ката зажмурилась. Будто, если она ничего не видит, так и ее не видно.

Но тут же снова открыла глаза, потому что рядом бесшумно упал башкирец-калмык.

Сквозь ветки тропа хорошо просматривалась.

По ней, пригнувшись, вихрем пролетел черный всадник. Ката успела разглядеть сдвинутую на лоб треуголку, под ней крючковатый нос и острый подбородок. Сзади, поотстав, скакали двое остальных.

Унеслись. Снова стало тихо.

Но Ката не поднималась. Вместо одного страха пришел другой.

А что это бродяга тоже стал от служивых людей прятаться? Не лихой ли человек? Не угодила ли она из огня да в полымя?

— Деньги-то на, — сказала она, садясь и смотря на башкирца-калмыка искоса. — Больше у меня ничего нету...

Ой, беда... Он всё пялился ей на грудь и шею. Неужто худое будет? Ката про такое от баб слыхала: что не дай бог один на один с чужим мужиком в безлюдном месте оказаться. Им, иродам, от нашей сестры одно надо.

Но вышло того хуже.

Нехристь потер рукой свои глазенки, пробормотал не поймешь что и вдруг вынул из рукава ножик с длинным и тонким лезвием.

У Каты похолодели ноги.

Не могло происходить такого на самом деле! Это, конечно, был дурной сон, химерное движение дурных эфиров в оцепенелом мозгу, как писано в медицинском трактате Иоанна Виготуса.

Ничего этого на самом деле не было. Ни черного человека с вороньим носом, ни узкоглазого душегуба, и князь Василий Васильевич жив-живехонек, а просто Ката сморилась писать про скучное, да и задремала.

— Господи, проснуться бы, — пролепетала она. — Это сон, это сон...

— А вот сейчас проверим, — сказал по-русски узкоглазый душегуб, немного картавя на букве «рцы».

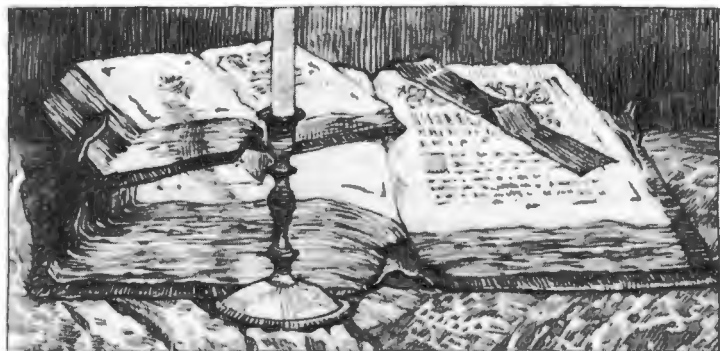




Часть вторая

НАЙТИ





СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ

Солн

Первоучитель сказал: «Никогда не забывай, что жизнь — химера, порожденная твоим «я», но умей отличать истинную химеру, именуемую реальностью, от химеры вовсе иллюзорной, именуемой сном».

Долговязая девочка-подросток, вдруг возникшая перед Симпэем, когда до цели оставалась всего четверть *ри*, и сама распахнувшая ворот своего темно-серого платья — а там на нитке покачивался Курумибуцу! — почти наверняка относилась к категории химер иллюзорных.

За последние месяцы Симпэй слишком часто воображал себе, как встретится со святыней. Он и прежде неоднократно видел это в снах. Они бывали добрыми, и тогда Курумибуцу возвращался к своему Хранителю; бывали и злыми — тогда реликвия рассыпалась в пальцах или лопалась облачком дыма.

Слабый свет, залучившийся во тьме на исходе прошлой осени, не спешил делаться ярче. Ореховый Будда

подпускал к себе Симпэя очень небыстро, ставя перед разумом и чутьем взыскующего всё новые и новые препятствия.

Медленно, трудно восстанавливал Хранитель путь, которым полтора десятилетия назад «кормщик» Авенир выводил из Москвы свой «корабль», на котором — *может быть*, всего лишь *может быть* — находился младенец с талисманом на шее. Раскольники могли не вернуться в подвал своего тайного обиталища. Если вернулись, оберег, конечно, не оставили на мертвом теле — побоялись бы, из суеверия. Скорее всего, надели на осиротевшее дитя, но дитя могло умереть в пути и остаться маленьким скелетиком где-то под землей — и реликвия там же, навсегда утраченная для людей. Курумibuцу-сама мог находиться в любом месте этой неохватной страны, а мог быть и раздавлен в прах каблуком невежды.

Но идущий по Пути не должен ломать голову над тем, существует ли в реальности Цель, к которой он стремится. Сам Путь и верность ему — вот что такое истинная реальность.

На второй месяц кропотливых поисков в старой столице Симпэй отыскал слепого попрошайку Мину, который лишь для вида кормился подаванием, а на самом деле много лет соединял тайных приверженцев старой веры с посланцами из дальних скитов, которые вводили раскольников спасаться в северные и заволжские пустыни. Хранители обучены разговаривать с людьми так, чтобы те рассказывали всё без утайки, и Симпэй сумел вывести у слепого всё, что тот знал.

Мина вспомнил «корабль» старца Авенира, вспомнил и немую стрельчиху, истекшую кровью. Какого цвета у нее были волосы, по слепоте сказать не мог, не видел он, конечно, и «ореха», однако с твердостью заявил, что

после облавы «корабельщики» вернулись в схрон, бабу похоронили и отмолили, а дитё, девочку, забрали с собой. Ушли они куда-то на Вологодчину или еще дальше.

Отправился на север и Симпэй. Он уже знал, где и у кого спрашивать про истинноверов. По всей Руси — как в восточную сторону, так и в северную — у ревнителей старины были свои люди и свои пристанища. Только подай условленный знак или скажи заветное слово — помогут и направят дальше. Чтоб быть среди них своим, Симпэй опять сменил веру: повесил на шею охмыконечный крестик, научился «метать» малые поклоны, мог поддержать беседу о новых страстотерпцах и учителях. «Свои люди» удивлялись нерусскому облику странника, но он напоминал им о святом Пафнутии Боровском и прочих святых угодниках ордынского корня — и недоверчивые устыжались.

Несколько раз след терялся. На ползимы Симпэй застрял в Вельске, когда небывалыми буранами занесло все дороги, но терпение путника было безгранично, спокойная уверенность незыблема, и весной Курумibuцу-сама вывел Симпэя на прямую дорогу.

Верный человек сказал, что Авенирова община жива и поныне, обитает на реке Пинеге, в селении Со-яла, и славится книжным промыслом. Старец правит «кораблем», где много баб и девок, которых сызмальства обучают ремеслу чистописания.

Вчера вечером, в первый день светлого месяца мая, Симпэй постучался в запертые ворота, произнес заветные слова, славящие Исуca (а не Иисуса, которого славят никониане), и был отведен к Старцу за вопрошанием и благословением.

Вопрошание прошел легко, дело было привычное, многожды испытанное, за благословение отблагодарил

земным поклоном, а еще и сделал пожертвование общине, дал пятиалтынный, отчего Авенир суровые брови раздвинул и даже улыбнулся. Позволил ночевать.

Симпэю только того и было нужно. Самого «кормщика» он ни о чем расспрашивать не стал — увидел, что тот неласков и подозрителен, зато душевно потолковал с бабами и скоро уже знал: девочка жива, звать ее Катерина, по-домашнему Ката, и материн оберег у нее на шее.

Свет разлился так ярко, что ночью Симпэй не мог спать и, не дожидаясь утра, отправился в путь — в городок Пинегу, где следовало искать девочку. Дух, хоть и привычный к сдержанности, не мог совладать с волнением, радость и надежда мешали гармонии. Поэтому, совсем немного не дойдя до места, Хранитель сел под кустом в позу *дзадзэн*, смежил веки, заставил себя обратиться в камень. Великий миг требовал великого же спокойствия. Нельзя появиться перед Курумибуцу с хаосом в душе.

Должно быть, сам не заметил, что задремал. В таком состоянии легче легкого спутать сон жизни со сном, увиденным во сне. Вот и химерная девочка (не может же у настоящей Каты быть такая же, как у Будды, точка на лбу!) тоже сказала: «Это сон, это сон».

Есть верный способ, с помощью которого легко разоблачить иллюзорную химеру: телесная боль.

Симпэй вынул нож и кольнул себя в запястье.

Руку обожгла маленькая горечь физического страдания, душу озарила огромная радость. Это не химера! Ореховый Будда найден, а вернее, нашел своего Хранителя! На самом последнем отрезке Пути сам вышел навстречу!

Уронив нож, Симпэй сложил ладони, закрыл глаза и мысленно произнес формулу благодарственной мо-



литвы: «Спасибо жизни за то, что она полна. Спасибо сну за то, что он прекрасен».

Счастливый Хранитель сидел среди весенних берез, и по лицу неудержимым потоком текли слезы, березовый сок души.

Семнадцать лет! Семнадцать лет и много тысяч *ри*!

Когда Симпэй открыл глаза, девочки рядом не было, но он знал, что она не привиделась. Просто испугалась ножа и кинулась бежать. Вдали под быстрыми ногами трещали прошлогодние палые сучья.

Никуда не торопясь, он еще семь раз поблагодарил жизнь за полноту и устремился вдогонку — особым, стремительным «бегом тигра», какому Хранителей обучают в самый первый год подготовки.

— Ката, подожди! Я не сделаю тебе зла! — крикнул он, увидев впереди девочку. Она неслась, подобрав подол, мелькали тощие ноги в онучах.

Обернулась раз, другой. Глаза в пол-лица, в них ужас.

Чтоб не пугать ее еще больше, Симпэй замедлил бег и всё повторял: «Остановись, Ката, остановись».

Наконец поняла, что не убежит. Умная.

Остановилась, подобрала острый сук, выставила его вперед. Храбрая.

Крикнула:

— Откуда меня знаешь? Кто ты? Что тебе надо?

Он тоже встал на месте, низко поклонился той, с кем Курумибуцу прожил пятнадцать с половиной лет. Получалось, что эта нескладная *мусумэ* — тоже Хранительница Орехового Будды.

На вопросы (все совершенно разумные и заданные в правильной логической последовательности) Симпэй ответил в том же порядке:

— Я знаю о тебе от Манефы, что живет в Сояле. Она сказала, где тебя найти.

Эти слова должны были девочку немного успокоить. Мгновение-другое подождав, он продолжил:

— Я — японец. Мое имя Симпэй. Япон — это такая страна...

— Я знаю, что такое Япон, — удивила его девочка. — Как ты сюда попал?

— Сначала, если позволишь, я отвечу на твой третий вопрос: что мне нужно. Я хочу купить у тебя твой оберег.

Не осмеливаясь ткнуть пальцем (это была бы чудовищная непочтительность), он показал на реликвию взглядом и снова поклонился.

Ката-тян закрыла орех рукой.

— Он не продажный!

— Я заплачу тебе очень много денег. Смотри.

Симпэй достал из мешка кожаную кису, из кисы все свои деньги. Уходя из Петербурга, толмач Буданов поменял накопленное за годы службы жалование вкупе с наградными, все сто пятьдесят рублей, на пятнадцать золотых червонцев, и за полгода поисков потратил из них только один. Четырнадцать лежали сверкающей кучкой на ладони.

— У вас тут живут на копейку в день, а это четырнадцать тысяч копеек. Тебе хватит на всю жизнь.

На блестящие кружки девочка посмотрела с любопытством. Никогда таких не видела. Но ответила без колебаний:

— То, что не продается, не продается.

Сама того не зная, она пересказала простыми и краткими словами знаменитое изречение Первоучителя: «Есть вещи, имеющие продажную цену, и вещи, ее не имеющие. Значение имеют только вторые».

Что ж, Курумибуцу-сама в Своей безошибочной прозорливости подыскал Себе достойную хранительницу. Симпэй спрятал деньги. От них здесь проку не будет.

— Теперь я отвечу на твой четвертый вопрос. Как я попал сюда. Сядем на этот мягкий мох. Рассказ будет долгим и про трудное.

— Я привыкла слушать долгие рассказы про трудное, — сказала девочка. Она уже не боялась.

Сели.

* * *

— ...Тысячу лет назад жил один человек, происхождением, наверное, индеец, потому что, по нашему преданию, глаза у него были круглые, а посередине лба несмываемый знак. Однажды, еще в юности, этот чело-

век решил узнать, откуда появляется солнце, и пошел на восток, пока не добрался до самого конца земли — Страны Солнечного Корня, как называли тогда и называют сейчас Японию. Путь был долгий, а странник никуда не торопился. Смотрел, слушал, всюду учился мудрому и обдумывал изученное, так что первую половину дороги проделал учеником, а вторую уже учителем. От других взыскателей истины он отличался тем, что не боялся чувствовать и не считал радость грехом или слабостью. Нам, японцам, повезло больше всех, потому что к нам Мансэй — так его звали — попал уже седобородым старцем, достигнув совершенномудрия. Другие лишь сеяли семена, а плоды достались нам. В моем родном городе Хирадо, на том месте, где нога Мансэя впервые коснулась нашей земли, поставлен храм, который так и называется: Храм Мансэя — Мансэйдзи.

Девочка слушала хорошо — большая редкость в такие юные лета. А всё же слишком много знаний сразу обрушивать не следовало. Симпэй решил начать с того, что будет любознательно подростку.

— Мансэй создал учение, по которому живем мы, его последователи, поэтому мы еще называем его Первоучителем. После были и другие учителя, развившие нашу истину. Но о нашем знании я расскажу тебе после — если ты захочешь. Пока же узнай о нашей святыне, которую я хотел у тебя выкупить за золото и которую ты мне разумно не продала.

Здесь Ката-тян впервые его перебила. Впрочем, Симпэй ждал вопроса и нарочно сделал паузу.

— Чего это она ваша? Баюн у меня знаешь сколько лет? От самого рождения! Он мне от матушки-покойницы достался!

И опять спрятала амулет в кулак.

Симпэй улыбнулся.

— «С самого рождения» — это пятнадцать лет?

— Скоро уже шестнадцать... Ну, не очень скоро. Осенью.

— А у нас в Святилище Ореховый Будда пробыл тысячу лет.

— Будда — это бог у китайских азиатов, — важно сказала девочка. — Я читала, знаю.

— Будда — это не бог, это Просветленный. Каждый может стать Буддой. И в конце концов станет, — начал было Симпэй, но остановился — она не поймет. — Однако я хотел объяснить тебе про Святилище. Это как алтарь в церкви, только почти всегда сокрытый от глаз непосвященных. Ореховый Будда содержится, то есть содержится там испокон веку, замкнутый в семь добрых оболочек, одна внутри другой.

— Добрых оболочек?

— Или покровов, можно сказать и так. У нас в Японии есть такая кукла: разбираешь ее, а внутри другая, поменьше, потом еще и еще. Всего же кукол семь, по числу наших доброжелательных богов, приносящих человеку счастье. Простые люди (а их, как и на Руси, у нас девяносто девять из ста) не понимают сути Будды и не стремятся ее понять, а чтут лишь богов счастья, и ничего плохого тут нет. Будда вбирает в себя все сущее, сиречь и малых богов. Когда двери святилища раздвигаются, видно лишь верхний покров: животастого, вечноулыбчивого бога Хотэя, покровителя доброты, сытости и удачи. Ему поклоняются больше всего, потому что обычным людям для счастья довольно, чтобы жизнь была доброй, неголодной и чтобы хоть немного везло. Хотэй высотой в два человеческих роста.

Раз в год, на Праздник Моря, Хотэя снимают и открывают следующего бога — Эбису. Он покровительствует рыбакам и потому очень чтим в нашем краю, где большинство кормятся морем. Рост бога Эбису по здешним мерам аршина в три.

В Праздник Урожая открывают Дайкоку. Это бог плодородия, помощник крестьян, которые питаются плодами земли. Их меньше, чем рыбаков, потому и бог не столь велик — пожалуй, ростом с тебя.

Еще меньше дворян. Они чтут Тамонтэна, бога воинов, и собираются на поклонение ему в Праздник Меча. Тамонтэн и сам ростом с длинный меч.

Мастера разных художеств, сочинители стихов и искусницы плотской любви приходят в Праздник Красоты, когда показывают богиню Бэнтэн, в руках у которой гусли. Она тебе по пояс.

Шестой бог Дзюродзин дает долголетие и добро-склонен к старикам. До преклонных лет, как ты знаешь, доживают немногие, поэтому в Праздник Стариков посмотреть на Дзюродзина собирается мало людей. Они кланяются своему печальному богу размером с локоть и просят у него красивого, безветренного заката.

К седьмому же богу, совсем маленькому, с ладонь, в его праздник является и вовсе горстка почитателей, ибо Фукурокудзю помогает обрести мудрость, а к ней стремятся единицы.

Но и бог Фукурокудзю — не более чем скорлупа для Будды, который выше мудрости и незрим для глаз. Потому Орехового Будду, заключенного под последним покровом, не являют людям никогда. Это изображение Всеблагого, вырезанное из ореха, когда-то принадлежало самому Первоучителю Мансэю, и для нас, последователей Мансэя, на свете нет реликвии святее. Видеть и касаться ее может лишь один из монахов,

брат блюстителю. В назначенный срок он снимает последнюю оболочку и благоговейно совершает Обряд Помазания — смазывает Будду священным маслом, чтоб ореховая скорлупа не треснула... Но однажды брат блюститель исчез. Назначили нового. И тот, раскрыв бога мудрости, увидел, что Ореховый Будда тоже пропал. Не сразу, а лишь по истечении времени, мы узнали, что бедный брат Дораку (так звали блюстителя) променял святыню на мешок серебра...

Симпэй покачал головой, в тысячный раз дивясь причудам человеческих самоослеплений.

— Я же принадлежу к числу Хранителей, стражей Орехового Будды. Я должен был найти его хоть на краю света. И ныне нашел. Позволь мне еще раз посмотреть на чудо, — попросил он, потому что девочка не прикрывала святыню рукой, словно защищая ее.

— А что вы сделали с вором? — спросила она, не раскрывая ладони.

— Ничего, — пожал плечами Симпэй. — Живет где-то со своим серебром. Неважно. Это его карма, сиречь узор судьбы. Сам себе выбрал.

Тогда Ката-тян отпустила руку, и Симпэй наслаждался зрелищем.

Курумибуцу-сама был цел, не растрескался и не треснул. Должно быть, юная кожа, с которой он соприкасался, давала смазку не хуже священного масла.

— Он был внутри семи богов, а что внутри у него? — спросила девочка, тоже глядя на орех.

— Пустота, что же еще?

Она расстроилась:

— Да? А я думала, что-нибудь великое.

— Нет ничего более великого, чем Пустота, — засмеялся Симпэй, — но про это мы пока говорить не будем.

Поневоле волнуясь, хоть волнение и слабость, он ждал, что она скажет.

Девочка всё смотрела на свой амулет, двигала бровями, вздыхала.

— Ты прости меня, добрый человек... Я бы отдала тебе Баюна, но не могу. Сколько я была, столько и он со мной был. Это как кусок себя отдать — да не руку иль ногу, а часть души. Душа разве делится?

— Ореховый Будда — не только часть тебя, он часть семи тысяч его последователей-монахов, которые без него сиротеют, — мягко молвил Симпэй. — А можно сказать и так, что это они — частицы Будды. Но ты права. Тебе Курумibuцу-сама принадлежит не меньше, чем другим. Ты ныне его главная хранительница.

— Как же быть? — подняла она на него свои продолговатые, почти японские глаза, и, что отрадно, не водянисто-голубые, как у многих туземных людей, а хорошего коричневого цвета.

— Очень просто. Оставайся Хранительницей. Присоединяйся к нам. Среди нас есть не только монахи, но и монахини. Поплывем в Японию вместе. Что тебе делать здесь? Провести жизнь под началом жадного «кормщика»? Переписывать книги, в которых страха больше, чем веры, а злости больше, чем доброты? Поверь, в Храме монахиней-хранительницей жить лучше. Будда любит тебя, иначе Он не провел бы с тобой столько лет.

Симпэй ждал испуга: как это — всё бросить и отправиться в неведомую страну, за двадцать морей?

И девочка действительно испугалась. Но не того, о чем думал Симпэй.

— Охота была — плыть за тридевять земель, чтоб там с утра до вечера другому богу молиться! Я не хочу

быть монахиней! — воскликнула она, отступая. — Хочу жить да радоваться!

Опять Симпэй не сдержал смеха (а и не надо его сдерживать).

— Ты совсем еще дурочка. Лишь монахи и умеют по-настоящему радоваться жизни. Потому что радуются истинным радостям, а не обманным. Если захочешь, я тебя научу этому и многому другому.

Он готовился еще долго ее убеждать, но не пришлось. Ката-тян задумалась о чем-то своем. Оглянулась назад, в сторону Пинеги, потом покосилась на след от конских копыт, оставшийся на тропе. Тряхнула головой.

— Мне ныне все равно куда. И чем дале, тем лучше. В Японию так в Японию. Ты ведь, дедушка, чай, от меня теперь не отстанешь?

— Ни на шаг. Куда Он, туда и я, — ответил Симпэй, думая: в легкости, с которой юность принимает решения, определенно есть нечто буддийское.

— Позволь теперь и я тебя спрошу. Почему ты пряталась от Мартына Ванейкина? Это ведь был он, я его признал.

Девочка замигала своими красивыми глазами (кроме глаз ничего красивого в ее угловатом лице не было).

— Откуда ты его знаешь?

— Я прежде состоял на царской службе — в Москве и в новом городе Святого Петра. После расскажу. Ванейкин там человек известный. Про Преображенский приказ тебе ведомо?

— Самое сатанинское логово. Так старец Авенир говорит. Ему преображенцы все зубы дубинкой вышибли, только один остался.

— Это они умеют. Мартын Ванейкин раньше служил в Преображенке, по розыскному делу. Был чуть не

первая ихняя ищейка, великой дотошности и свирепости. А недавно перешел в фискалы, потому что те ныне на виду и у государя в чести. Страшный человек, его по пустякам никуда не посылают. Что ему до тебя?

Долго она не отвечала, смотрела испытующе, будто решая, довериться или нет.

— Не я ему нужна, а вот эта книга.

Достала из-за пазухи небольшой томик. На хорошей рисовой бумаге, которая в этой стране редкость и стоит немалых денег, теснились ровные рукописные строчки, прочесть которые Симпэй не мог — для его немолодых глаз было мелко.

— Это князя Голицына, Василия Васильевича, наставление потомству, как тут, на Руси, всем людям по разуму жить...

— А почему ты плачешь?

Всхлипывая, прерываясь на утирание слез и сморкание, Ката-тян рассказала удивительную историю опального *кароо* царевны Софьи, про которого в столицах все давно позабыли, а он, подобно святым старцам-даосам, оказывается, постигал в уединении мудрость жизни и записывал ее для будущих поколений. И умер хорошо, красиво: пытаясь спасти свой труд. В следующем рождении наверняка попадет на более высокий уровень *риннэ* и будет китайцем или даже японцем.

Симпэй почтительно вернул ей книгу.

— Фискал Ванейкин не уgomонится, пока не исполнит то, зачем послан. Перевернет небо и землю, будет искать повсюду, и это может сильно затруднить наш путь. Не найдя тебя в Сояле, он пошлет на архангельскую дорогу наказ тебя задержать. А нам как раз в Архангельск и нужно, ждать корабля до Амстердама. По-

слушай моего совета: отдай ты фискалу книгу. Что она тебе? Ты будешь Хранительницей святыни на другой половине земли, в совсем иной жизни. Страна Россия покажется тебе далеким, зряшным сном.

Ката-тян молчала.

— Может быть, ты не знаешь, как отдать страшному человеку книгу, чтоб он не сделал тебе дурного? Доверься в этом мне. Я пойду к сотскому, скажу, что книгу надлежит передать в фискальное ведомство господину Ванейкину, се дело государево. Передадут, и быстро. А мы с тобою пойдем в Архангельск без помехи, беседуя о важном.

— Нет, — сказала девочка. — Князь тридцать лет писал, а я этому ворону черному отдам, который его стубил? Кукиш ему. Лучше книжку с собой в Япон увезу. Все одно раньше чем через сто лет она тут не понадобится, это и Василий Васильевич говорил.

Хорошее сырье, очень хорошее, подумал Симпэй, одобрительно покивав. Ничего не знает, но цену верности понимает.

— Как хочешь. Наш путь будет труднее, чем я думал, но это, может быть, и неплохо. Готова ли ты идти в Японию?

Он небрежно показал рукой, как если бы Япония находилась где-нибудь за опушкой этого леса.

— Пойдем, что ж. Только сначала мне нужно на «корабль».

— Взять какие-нибудь вещи? Поверь, вещи не имеют важности, они химера, сиречь обманное видение.

— Вещей у меня никаких нет. Есть листок, оставшийся от матушки. Там ее рукой писаны два имени, ее и мое: «Марфа» да «Ката». Потому все меня так и зовут, хоть я крещена Катериной.

— Дело иное. Это не вещь, а чувство, чувства же химерой не бывают. Ради такого можно и сделать крюк. А времени терять мы не будем. По дороге я начну обучать тебя искусству Полной Жизни.

* * *

— ...«Мансэй» значит «Полная Жизнь», и учение наше называется Мансэй-ха: Школа Мансэя, или Школа Полной Жизни, а можно понимать и иначе, поскольку слово «ха» — это еще и «ручей». Ручей Полной Жизни. Или Ручей, Полный Жизни. Вся буддийская вера состоит из таких «ручьев», стекающихся в одну реку.

Они шли вдвоем широкой лесной тропой — длинная тощая девочка выше своего коренастого спутника, который вроде бы и не быстро переставлял свои короткие ноги, но двигался так легко и проворно, что она еле за ним поспевала.

— Значит, и у вас тоже вера, — разочарованно сказала Ката-тян, — как у нас, или у никониан, или у тех же магометан. А князь Василий Васильевич говорил, что принимать на веру чего точно не знаешь и не можешь проверить, вместе дитяте, но не зрелому уму. Василий Васильевич говорил, что знание выше веры и что он не богомольник, а философ, ибо философия помогает ясно видеть, а вера мешает.

— Мудрый был человек, — одобрил Симпэй. — И касательно неверия в непроверяемое он прав. Однако же есть истина, которая не нуждается в проверке и доказательстве, потому что ты ее знаешь своими чувствами и всем существом.

— Какая?

— Что ты, Ката, существуешь на самом деле. Это несомненно, так ведь?

Девочка пощупала себя за бока. Кивнула.

— Я-то есть, а вот Бог с ангелами и прочее, о чем в святых книгах пишут, — есть ли оно всё?

— Может, да, а может, и нет. Исходи из того, что наверняка существуешь только ты, а всё прочее зыбко и может оказаться сном или химерой: вещи, события, явления, другие люди. Одной твердой точки для опоры довольно. Стоя на ней, можно держать на себе целую вселенную. Исходи из того, что вселенная создана для тебя одной и без тебя ее нет. Она и есть ты. Исходи из того, что всё происходящее — порождение твоего сна, а смысл сих наваждений в том, чтобы ты достойно миновала череду духовных испытаний и не сбилась со своего Пути. Мир существует только в тебе. И все, что в нем происходит, — не больше, чем вопросы, на которые ты должна найти правильный ответ. Тебе кажется, что ты видишь прекрасные виды — но они явлены, чтобы ты развивала в себе чувство красоты. Тебе кажется, что ты видишь ужасные жестокости — но и они происходят лишь для того, чтобы испытать твою способность к состраданию и содействию.

— Зачем же сострадать, если мне всё только кажется?

— Затем, что всё, происходящее в твоём мире, и то, как отзывается твоя душа, очень важно. В тебе, как маленький Будда, таящийся внутри семи земных богов, спрятано некое сито, отделяющее Добро от Зла. Пропускай всё, что видишь, через это сито, и Путь приведет тебя туда, куда следует — к Будде.

— Ага, значит, я все-таки на свете не одна, раз есть еще и Будда?

— Да. Вас двое — ты и Он. Именно потому, что мы в это верим, наше учение является верой, а философия — лишь ее разумная часть. Мы верим, что есть Будда, частью которого мы стремимся стать. И что намерения Будды благи.

Девочка наморщила лоб, обдумывая услышанное, и задала два совершенно правильных вопроса. Она была умненькая.

— А зачем? Зачем верить? И еще. Почему ты знаешь, благие у вашего бога намерения или нет?

— Мансэй на первый вопрос ответил так: «Я верю в Будду, потому что верить мне интереснее, чем не верить». Касаемо благих или неблагих намерений Высшей Силы он сказал: «Мне, Мансэю, приятнее верить в хорошее, потому что по природе я добр. А тем, кто по природе зол, приятнее верить в плохое». Поэтому наше учение делится на две ветви. Есть еще и вторая, монахи которой исходят из того, что намерения Будды злы, и оттого человеку, следующему Путем, не нужно бояться зла. Оно — тоже испытание, через которое нужно пройти. Мы зовем сторонников этой ветви «вторыми», хотя они сами считают себя первыми. Кто из нас прав? — спросишь ты. А это вопрос твоего выбора.

Наступило молчание. Спутница думала, Симпэй же терпеливо ждал следующего вопроса.

Тропа посветлела. Чаща проредилась, меж стволов засверкало солнце. Слева показалась спокойная, широкая после весеннего паводка Пинегы. Из самой ее середины торчали верхушки деревьев — это были затопленные островки. Мир Будды являл один из своих сладостнейших видов, поздневесенний. Свежесть молодой листвы, голубизна высокого неба, синева реки и золотистое дрожание воздуха наполняли душу покоем, с

которым не хотелось расставаться. Симпэй и не расставался. Шел себе, блаженно жмурился.

Ты всё говоришь «путь», «путь», а что это такое? И как им идут? — наконец спросила девочка.

С этого мгновения она стала ученицей.

— Путь — это твоя жизнь, непохожая на все другие. Тропинка, которую ты прокладываешь. Пока ты не знаешь, куда и зачем движешься, ты будешь плутать и возвращаться в одно и то же место, либо вовсе повернешь назад. Школа Полной Жизни для того и создана, чтобы помочь тебе идти по тропинке, не сбиваясь с нее и не спотыкаясь.

— Так это я прокладываю тропинку или она уже есть, придуманная Буддой?

— А есть разница? — ответил Симпэй вопросом на вопрос, потому что именно так учитель разговаривает с учеником: откусывая кусочек знания и кладя в рот, но не разжевывая.

Этого куска девочка разжевать не смогла. Рано.

— Ты не такой, как я. И не такой, как все. Мне трудно тебя понимать, — пожаловалась она. — Будто ставишь меня с ног на голову... Или наоборот? — прибавила она, подумав.

— Ни то и ни другое. Просто Путь, если он верен, это не только тропинка, это еще и Лестница. Путник движется не только вперед, но и вверх. Ему всё труднее и труднее идти, сбивается дыхание, а на большой высоте начинает не хватать воздуха. Поскольку я иду уже очень давно, мы с тобой обретаемся на разных уровнях. На разных *etage* — есть такое голландское слово, но мне больше нравится русское слово «жилье». Знаешь, как большой дом бывает в два или три жилья?

— У нас в Сояле такой, в три жилья.

— И как поднимаются из жилья в жилье?

— Знамо — по лестнице.

— Вот и в Учении так же. Из Жилья в Жилье ведут Лестницы. В каждой по восемь ступеней. Хочешь, я возьму тебя за руку и проведу из низшего Жилья в следующее? Предупреждаю: будет трудно. Но без этого ты не сможешь стать настоящей Хранительницей.

— Конечно хочу! — воскликнула Ката-тян и сама протянула руку.

— Ну так пошли. А свои руки оставь при себе. Будешь тереть ими лоб, чтоб лучше думал.

* * *

— Первая ступень, с которой начинается восхождение, такова. Поверив в существование Будды и Пути, ничему другому больше не верь, ничем не обманывайся, всё пробуй на зуб, всё испытывай собственным умом и духом.

— ...И только? — спросила ученица, подождав и не дождавшись продолжения.

— «Только»? — засмеялся учитель. — Когда Мансэй стал пробовать на зуб изначальное учение Будды, оно держалось на Четырех Благородных Канонах, почитавшихся незыблемыми и несомненными. Первый — что жизнь это страдание. Второй — что причина страданий в наших желаниях и страхах; в том, что мы все время чего-то жаждем и никогда не насыщаемся, а если чем-то владеем, то боимся это потерять. Третий канон — что избавиться от страданий можно, лишь избавившись от желаний и живя сколь возможно скудно. Четвертый — что Путь должен соединять в себе правильное понима-

ние жизни, правильное намерение ее прожить, правильную речь и правильные поступки. Первоучитель подверг все эти утверждения сомнению. С первым канонем не согласился, сказав, что жизнь это удовольствие и приключение, ибо путешествовать приятно. Про второй канон сказал, что не все желания вредны, а некоторые страхи даже полезны, ибо тот, кто ничего не желает, отказывается от счастья, а тот, кто ничего не боится, долго не проживет, и, стало быть, Путь его окажется короток. Не согласился он и с третьим канонем, сказав, что мир Будды не скуден, а полон — значит, и жизнь должна быть полной. Надо лишь знать, чем и как ее наполнять. Против четвертого канона Первоучитель восставать не стал, но сказал, что понятие «правильности» нуждается в разъяснении. И посвятил этому разъяснению весь остаток своей жизни.

— И что? Разъяснил?

— Кое-что. Потом продолжили другие учителя. Но окончательные правила путник определяет для себя сам. Всё подвергая сомнению и прикладывая к себе — годится или нет. Ну, а теперь я замолчу, а ты про всё это подумай.

Симпэй отвык так долго говорить и устал от слов. Он посматривал вокруг, чувствуя себя совершенно счастливым и наслаждаясь каждым мигом этого состояния.

Курумибуцу-сама найден. Он движется по направлению к дому. Путь неблизок, но это и хорошо. Неплоха и спутница. Учить ее, кажется, будет нетрудно. Если она способна так долго молчать, значит, способна размышлять — это ценное качество.

Они шли так час, другой, третий, не останавливаясь и не уставая, потому что девочка была полна юных сил, а Симпэй мог идти без остановки и день, и два.

Перед самым закатом, когда тени стали длинны, а свет розов, вдали показались крыши и посверкивающая колоколенка. Это была уже знакомая монаху Сояла, невеликое селение с собственной церковью. Авенирово городище — так называлась община староверов — стояло чуть в стороне: высокая ограда, над которой виднелась верхняя половина большой трехэтажной избы с башенкой в одно окно.

— Там он живет, «кормщик», — показала Катятян. — Называется «Башня» или «Вышняя Пещера». Ниже, во втором жилье, братская пещера. Там дядя Фома, дядя Михей и дядя Аникий. Они все бывшие стрельцы, на строгом послушании. Им жениться нельзя. В первом жилье у нас молельня, переписная, житница, скарбня. А семейные живут повдоль ограды, в нижних пещерах, они к забору прилеплены. Еще есть сестринская, для одиноких баб и девок, я раньше там жила.

— Погоди. Проверим, не там ли Ванейкин с солдатами.

Четверть часа, если не больше, Симпэй смотрел и слушал. В вечернем безмолвии всякий звук разносится далеко.

На городище было тихо. Не фыркали лошади, не звякала сбруя, не звучали голоса.

— Если были — ушли, — наконец сказал Симпэй. — Опасности нет. Я ее всегда чую.

Пошли через седой от вечерней росы луг. Девочка волновалась и потому все время говорила.

— Мне только в сестринскую, на полминуточки. У меня там лавка, под ней сундучок, а в нем матушкина память. Возьму и сразу уйдем, пока старец не прознал.

Если ему этот черный про князеву смерть сказал, Авенир меня не выпустит... Только б на сторо́же не Фома Ломаный был, а дядя Михей иль того лучше дядя Аниккий... Ты, дедушка, меня снаружи обождешь?

— Отчего же, войду. Старец благословил, я ему вчера пятнадцать копеек поднес, — ответил Симпэй, втягивая ноздрами воздух.

Конные здесь были, несколько часов назад, но сейчас их нет.

Калитку в прочных дубовых воротах открыл большой негобородый человек с черным колпачком на носу и выжженной на лбу буквой «веди» — «вор». Так метили в Преображенском мятежных стрельцов, избежавших казни.

— А, явилась, — буркнул он девочке. — С тобой кто? Чего тебе здесь, нерусь?

— Старец благословил. Я уж давеча был здесь, — с поклоном молвил Симпэй, и этого оказалось достаточно. — Девицу же повстречал в лесу.

Ворча, покалеченный пошел в дом. Он еще и перешаливался со стороны на сторону.

— Дяде Фоме каты ноги перебили и вырвали ноздри, — шепнула Ката-тян. — Оттого он и Ломаный, оттого и злой... Пожди меня в сторонке, дедушка. Вон там, за сарайчиком встань.

Симпэй так и сделал.

Во дворе было пусто и уже темно. В окошках маленьких пристроек, что лепились к ограде, горел слабый свет. Отовсюду неслись обрывки тихих, приглушенных разговоров. Никто не смеялся, не плакал, не бранился. Никто не поднимал голос. Наверху, высоко, в обиталище повелителя этого затаившегося мирка, тоже сиял свет, но яркий. Там жгли не лучину, а настоящие свечи, и много.



Скрипнула дверь сестринской — длинной приземистой избы. Оттуда спиной, кланяясь, выпятилась Ката-тян.

— И вам счастливенько, не поминайте лихом, тетечки, — услышал Симпэй и покачал головой, потому что от главного трехэтажного дома быстро катился покалеченный Фома, со своими длинными руками и вывернутыми ногами похожий на краба.

— Эй, Катка! Старец зовет! Пойдем-ка.

Девочка оглядела двор, должно быть высматривая Симпэя, но не углядела. Вид у нее был испуганный.

— Иду, дяденька...



И поднялась в дом, а сторож вернулся к воротам.

Вздыхнув, Симпэй достал из мешка железные «когти», нацепил на пальцы.

Выбрал стену, погуще укрытую тенью. Быстро полез вверх. Лезть по бревнам было нетрудно.

Первое жильё, второе, третье.

Подле светящегося окна, сбоку, Симпэй распластался в позиции «летучая мышь». Осторожно, от верхнего угла, заглянул внутрь.

В переплетице сизовели слюдяные пластины (откуда тут взяться стеклу?). Через них ничего не разгля-

дишь, но, на удачу, створки ради вечерней свежести остались приоткрыты, так что было и видно, и слышно.

Длиннобородый Авенир сидел за столом, с двух сторон освещенный свечами, и смотрел вниз, на раскрытую толстую книгу, но не читал, а лишь хмурил кустистые седые брови. Девочка уже заканчивала свой короткий рассказ про смерть князя и бегство. Про странника, встретившегося ей в лесу, промолчала, а «кормщик» не спросил. Не сказала и про голицынскую книгу.

Мнение об Авенире у Симпэя составилось еще вчера. Таких людей он встречал и прежде. Думают, что на всякий вопрос существует лишь один ответ, и уверены, что все ответы им известны.

Свое повествование девочка закончила так:

— ...Ищут меня те антихристовы слуги, оставаться мне на «корабле» нельзя. Сгублю себя и всех вас. Благослови меня уйти в мир. Доверюсь Божьей воле. А с сестрами я уже попрощалась.

Старец еще некое время глядел в книгу, не размыкая уст. Огоньки свеч легонько колыхались на сквозняке.

Наконец «кормщик» поднял на стоящую перед ним Катю глаза.

— Чему я тебя учил, Катерина, помнишь? Про три блага. Что истинноверующему надлежит блюсти допрежь всего? В чем первое благо?

Симпэй заинтересовался. Оказывается, в Авенировом учении тоже есть ступени. Ну и каковы они?

— Пострадать за Бога.

— Так. А второе?

— Пострадать за братия своя единоверные.

— А третье?

— Душу свою спасет тот, кто сгубит свое тело.



Хэ, да это индийская аскеза, развенчанная царевичем Сякой еще две с половиной тысячи лет назад, разочарованно поморщился Симпэй.

— Пришло твое время себя показать, дочь моя. Время великого подвига и жертвенного страдания. Были здесь ныне днем антихристовы слуги, спрашивали о тебе. Когда я поклялся на Святом Писании, что тебя неделю не видел, они поскакали на Архангельский шлях, но они вернутся. Начальный человек, ликом подобный Люциферу, рек мне: «Коли явится девка, посади ее под замок. А обманешь — городищу твоему конец. Спалю дотла государевым именем». Рек — и ускакали.

— И ты ему пообещал? — ахнула девочка.

— Я ему сказал, что моих духовных дочерей сажать под замок незачем. У них замок — сердце, а ключ у

меня. Счастлив твой удел, Катерина! — «Кормщик» поднялся, простер руку к закопченному потолку. — Все три благие зарока исполнишь! Примешь страдание за Бога, страдание за «корабль» и спасешь свою душу, погубив всего лишь тело! Мы будем за тебя молиться сорок дней, а после вечно славить мученицу Катерину в поминаниях. Еще запишу твой подвиг в «Истинноверный патерик» и разошлю по всем общинам в назидание. Сколько будет жива наша вера, столько будет памятно и славно твое имя... Что лоб супишь? — спросил он, опустив взгляд с горних высей на лицо слушательницы. Оно, в самом деле, не выражало благоговейного восторга.

— Сомневаюсь, отче.

Симпэй улыбнулся.

— Как это «сомневаюсь»? В чем? — поразился старец. — Иль ты забыла, что сомнение — грех?

— У тебя грех, у других — нет.

Непохоже, что кто-то из паствы когда-либо прежде перечил «кормщику». Он обомлел.

— Что ты несешь, Катерина? Умом тронулась? В чем тут можно сомневаться? В трех высших благах?!

Ката-тян кивнула.

— Перво-наперво сомневаюсь, что Богу мое страдание в радость. Еще сомневаюсь, что благо — пострадать за тебя. И насчет того, что погубить свое тело — благо, мне тоже сомнительно.

Ай молодец, подумал Симпэй. Мало кто может так быстро подняться на первую ступень.

Однако «кормщик» уже не изумлялся. Он гневался, и в гнев стал грозен. Суровые брови сошлись, разделив лоб глубокой складкой. Глаза неистово загорелись, кулаки сжались. Страшнее же всего было то, что Аве-

нир не закричал, а зашипел, словно готовящаяся к броску змея-мамуси.

— Всегда ты была дерзка и своеумна, а в Пинеге вовсе испортилась! Ан ладно. Нет в тебе сердечного замка, посидишь под железным.

Двинулся вперед, прямо на девочку. Она втянула голову в плечи, ожидая удара, но старец лишь отстранил ее и вышел вон. С той стороны раздался его крик:

— Аникий! Михей! Сюда!

Ката-тян заметалась по комнате. Кинулась к окну, на котором прятался Симпэй, но не заметила его, а распахнула створки шире, свесилась — в испуге отшатнулась. Высоко!

Бормотала:

— Господи, господи, пропадаю... Пропадаю, дедушка!

Что у нее в голове пока путаница и она не знает, к кому взывать о помощи — к христианскому богу или к своему учителю, это в порядке вещей, подумал Симпэй.

Вслух же сказал, негромко:

— Первую ступень ты усвоила неплохо. Можно двигаться дальше.

От голоса, внезапно прозвучавшего у нее прямо над ухом, Ката-тян взвизгнула и отскочила.

Внизу на лестнице ступени уже скрипели под тяжелыми шагами. Надо было спешить.

Симпэй просунул в проем голову.

— Не бойся, я тебе не снюсь. Лезь на подоконник и покрепче обхвати меня.

— Я боюсь! Сорвусь, переломаюсь!

— Двух одинаково сильных страхов не бывает, — назидательно молвил он. — Выбери, чего ты боишься меньше — того или этого.

И показал сначала на дверь, потом на окно.

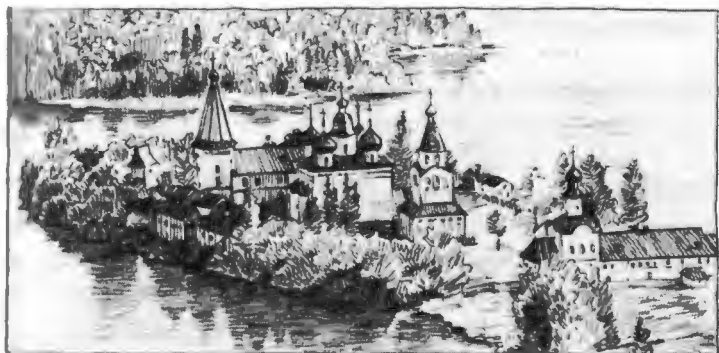
— В девку вселился бес. Возьмите ее, закройте в погреб, — донесся голос Авенира. — Да живее вы! Что еле ползете?

Ката-тян кинулась к Симпэю.

— Крепче, — велел он. — Да не за шею, мне дышать надо. Под мышками обхвати. Вниз не гляди, лучше зажмурься. Спускаться будем быстро.

Створки он прикрыл, чтобы не бросались в глаза. Когда скрипнула дверь, за окном уже никого не было.





СТУПЕНЬ ВТОРАЯ

Свято-Троица

Второй раз за этот длинный-предлинный день Кате пришлось прятаться в закоулке, а по двору бегали люди, которые ее искали за недобрым делом. Но тех, давешних, она знать не знала и они были чертовы слуги, а с этими Ката жила всю жизнь. Фома Ломаный ладно, он злыдень, но дядя Михей ее всегда жалел, а дядя Аникей давал ей, маленькой, сахару. Шыне же все трое хотели ее изловить и отдать черному фискалу на муку, а старец Авенир, бывший еще недавно все равно что посланником Божиим на земле, высывался из окна и кричал: «Бес ее что ли, сквернавку, унес? Вы не пусто бегайте-то, вы об избавлении от козней Лукавого молитесь!».

Страшно это было и горько, потому Ката боялась и всхлипывала. А дед Симпэй поглаживал ее по плечу, приговаривал: «Это плохой сон, плохой. Но ты его запомни».

Сидели они в щели меж забором и сарайкой. А потом Фома заорал от коровника: «Тута она! На сеник

залезла!». Померещилось ему что-то. Мужики все туда побежали. Дедушка шепнул:

— Теперь уходим.

Они перебежали к воротам, отперли калитку и скоро были уже на темном лугу, на воле.

Ката оглянулась назад. Городище, которое было для нее отчим домом, показалось ей и вправду похожим на корабль посреди ночного моря, совсем как на картинке из книги об открытии Нового Света. Окошко в Башне — будто мачтовый фонарь. А я прыгнула в море-океан и плыву сама по себе, подумала Ката, но мысли этой почему-то не испугалась. Не сама по себе — с дедушкой. Небось с ним не потонешь.

Удалившись от Соялы на версту или более, они остановились.

— На Архангельскую дорогу нам нельзя, сама слышала, — сказал Симпэй. — Куда ж нам?

Призадумался.

— На что нам дорога? — удивилась Ката. — Мы вдоль пошагаем, никто нас не увидит. А заставы стороной обойдем.

Он покачал головой.

— До Архангельска мы, может, и дойдем, но в городе тебя схватят. Ты Ванейкина не знаешь. Он ищей опытный. Нет, короткая дорога до моря нам заказана. Пойдем длинной. Через леса, через озера. На Петербург. Ничего. Зато оттуда до Амстердама короче и кораблей больше.

Ката не поверила.

— В Петербург? Да он вона где! До него тыща верст! А до Архангельска четыре дня всего через Холмогоры.

— До Петербурга, пожалуй, что и больше тысячи перст. Но в Пути быстрота не главное.

— А что главное? Дойти до цели?

— Нет. Главное — правильно идти, — непонятно ответил дедушка, но больше ничего не объяснил.

— Мне про это подумать, да? — спросила она, памятуя урок первой ступени: все пробовать на зуб.

Небо вдруг осветилось зарницей, и дедушкин лик показался Кате загадочно-грозен. Тут же ударил гром, а сразу за тем, безо всякого предупреждения, хлынул обильный майский ливень.

— Бежим! — крикнула Ката. — Тут близко бор! Сядем под большую ель, укроемся!

Бросилась первой, но обернулась и встала, потому что Учитель остался на месте.

— Зачем укрываться от дождя? — спросил он.

— Промокнем же...

— Разве промокнуть опасно для жизни?

— Нет...

— Прячется ли от дождя лесной олень? Или медведь? Боятся ли они промокнуть?

— Нет...

Она поежилась, потому что за шиворот стекла противная холодная струя. Намокшие волосы прилипли ко лбу, начали отсыреть онучи. Дед же был безмятежен и лишь с удовольствием подставлял лицо струям.

— Поговорим про вторую ступень. Зверь, живущий на воле, силен, ибо обходится только тем, что получил от природы. Зимой не мерзнет, летом не жалуется на жару, легко переносит голодные времена, не нуждается ни в одежде, ни в дровах для обогрева. Человек, напротив, слаб зависимостью от придуманных им удобств. И тем слабее, чем больше у него подобных привычек.

Пойми меня верно. — Он смахнул со лба капли. — Человеческие изобретения, благоустраивающие жизнь, — это хорошо. Нельзя ставить преграды предприимчивому уму. Но тот, кто идет по Пути, не нуждается в излишнем, а излишнее — всё, что необязательно для жизни. Это и есть вторая ступень обучения. Обходиться самым необходимым и не страдать от этого.

— Легко сказать, — уныло протянула Ката. Дождя она уже не боялась, все равно до нитки вымокла, но в животе начинало бурчать от голода. — Я вот с утра не евши. И чего теперь? Пока не вскарабкаюсь на вторую ступеньку, не жрать?

Он легонько, необидно шлепнул ее по лбу.

— Не говори глупое. Еда для жизни обязательна. Без нее помрешь... Я тоже поел бы. Если гроза тебе больше не помеха, давай... — Он подумал, поглядел вокруг... — ...Ну, наверно, ужинать. Или завтракать. А так и обедать, ибо Путнику должно хватать одной трапезы в два или три дня.

Посмотрел на вытянувшееся лицо ученицы, снисходительно прибавил:

— Ладно, в начале обучения можно есть каждый день. Устроимся вон у того пня...

Сел, достал из мешка краюшку хлеба и луковицу. Разрезал то и другое своим острым ножом, так напугавшим Кату давеча.

Она, гордясь своей рачительностью, тоже достала снедь — когда была в сестринской, догадалась прихватить. Двух вяленых ельцов, репку, да еще остатний ломоть пасхального кулича.

— Угощайся, дедушка.

Симпэй поглядел, сграбастал с пня всё, кроме своей краюхи с луковицей, да и зашвырнул в темноту.

— Ты что?!

— Излишества, — коротко ответил он. — Для поддержания сил хватит того, что у нас есть.

Ката только вздохнула. Эх, надо было кулич, пока шли, сжевать тихонько. Тетка Манефа его печет — язык откусишь.

Но устыдилась малодушия. Опять же надо было отныне про куличи забывать. Откуда они в Японии?

— Дедушка, а что у вас, ну то есть, у нас в Японии едят? Хлебушек-то есть?

Он не ответил. Поел, да тут же уснул. Под дождем, сидя, будто суслик. Лишь чуть голову приповесил.

Положила руки на пень, а на руки голову и Ката. Подумала: нипочем под грозой не засну. Но ничего, заснула.

* * *

Проснулась она, когда было уже светло. Дождь закончился, но одежда еще не просохла. Это сырость, от нее не умирают, сказала себе Ката. Но что делать с холодом? Майские ночи на Пинеге зябкие, все тело задеревенело, пальцы были будто ледышки.

Слышалось легкое поскрипывание. Она открыла глаза.

Это дедушка скреб себе голову ножиком. Лезвие было острее, чем бритва. От каждого движения оставалась чистая полоска, на которой сразу начинал поигрывать солнечный луч. Макушка понемногу превращалась из серой в золотопереливчатую.

— З-зачем это? — спросила Ката, стуча зубами.

— Лучше чувствуешь мир. У кожи тоже есть глаза. И ты будешь брить голову, когда станешь монахиней.

Она потрогала косу. Конечно, заплетать ее докука, и волоса мыть тож, но совсем-то уж лысой ходить?

— Дедушка, я замерзла, трясусь вся. Тепло — это излишество или как?

— Пока вода не превращается в лед, нет никакого холода, — спокойно ответил он, сладостно жмурясь от прикосновений клинка. — Это называется «прохлада». Она полезна и приятна, просто к ней нужно привыкнуть. Скажи себе: я травинка, покрытая утренней росой, она меня освежает.

Ката сказала. Зубы меньше стучать не стали.

Они сидели у своего пня близ дорожки, что вела вдоль речного берега на юг, к дальнему Свято-Троицкому монастырю, куда никониане ходят на богомолье, и мимо шли, стуча паломническими посохами, две бабы в черных платках. Обе уставились на бредущего Симпэя.

Одна просто плюнула и перекрестилась щепотью. Другая крикнула:

— Не сиди с татаринком, девка! Они, паскудники, Христа распяли!

— Христа распяли иудеи, дура, — звонко ответила Ката. — А ты иди куда шла, палку свою не потеряй!

На таких надо сразу наорать, тогда они затыкаются. Баба от бойкого ответа скисла и заткнулась. Крестьясь и плюясь, обе потопали дальше.

А Симпэй сказал:

— Запомни два правила. Первое. Никогда никому не груби. От этого сам становишься грубее, а это слабость. И второе. Когда тебе дают совет, всегда благодари. Даже если совет бесполезен. А эта добрая женщи-

на дала очень хороший совет. Мы с тобой пара, которая обращает на себя внимание. Косоглазая нерусь да конопатая девка, оба приметные. Каждый будет пялиться и думать: почему они вместе? Этого нам не надобно. Со мной ничего не сделаешь, глаза другие взять негде, а тебя мы преобразим.

— Как это?

Он задумчиво ее разглядывал.

— Поменяем тебе пол с женского на мужеский. Конечно, женщиной быть лучше, чем мужчиной, потому что женщины меньше бегают с места на место, меньше размахивают руками, меньше вредят своей душе насильем и потому у них больше возможностей для благих размышлений, но в дальней дороге через пустынные, опасные места удобнее быть мужчиной... Спереди ты плоская, в бедрах узкая. Это плохо, если рожать, но рожать монахине не понадобится. А для дороги это хорошо. Наклони-ка голову.

Ката, ничего плохого не подозревая, принагнулась. Что-то коротко зашуршало, и голове вдруг стало легко. Длинная коса, ращенная от самого рождения, полетела в траву.

— Ой!

Схватила за волосы.

— Погоди, подравняю... Вот так.

Она застыла, разинув рот. Большого греха и срама, чем девке обрезать волосы, у истинноверов нет. Хотя что это ей? Она же ныне — как сказать — буддийка?

На волосах Симпэй не остановился, стал кромсать ножиком дальше. Льянную рубаху не тронул, но юбку из серой поскони располовинил от самого междуножья донизу. Достал из своего мешка иглу с ниткой, сшил подол двумя широкими штанинами. Платок (хороший,

теткой Манефой тканый) с плеч снял и выбросил, сказавши: «Это излишество».

Теперь остался доволен:

— Как есть отрок.

Ката же увлеклась мыслью про излишества. Уж избавляться так избавляться.

— Звери в лесу, чай, голые-бóсье ходят, и ничего. Нам голыми, ясно, нельзя — приметно будет, в яму посадят. Но лапти-сапоги, на что они? Не баловство ли?

— Сейчас увидишь на что.

Дед подобрал с дороги кусок доски, должно быть, отломившийся от борта какой-то телеги, стал ловко кромсать дерево ножом.

— Это сталь особенная, плетеная да каленая, с дымчатым узором. Таковую только в Японии делать умеют. Не тупится, не ломается...

Приговаривая, он вырезал четыре усеченные плашки: сверху они были длиной со ступню, книзу поуже. Ката с любопытством наблюдала: зачем это?

В чудо-мешке у Симпэя нашлись гвоздики и кожаные ремешки. Он приделал их к деревяшкам.

— Подними ногу.

Крепко-накрепко привязал ей плашки к лаптям — получились вроде как подставки. Две другие прикрутил себе к сапогам.

Встал, попрыгал, проверяя крепость.

— Пора научить тебя *хаяруки*, быстрому ходу, а то мы с тобой будем до Петербурга всё лето тащиться. Подставки эти называются *хидзумэ*, «копыта». От них нога делается длиннее, а главное легчает шаг. Обычно ведь люди как ступают? Переваливают с пятки на носок, а тут идешь в единое касание, как косуля: цок, цок, цок.

Он вдруг очень легко и быстро двинулся по дороге большущими, прыгучими шагами. Ката завизжала от восторга.

— Видишь? Получается вдвое быстрее, а устаешь вдвое меньше.

— Я тоже так хочу!

Она вскочила, сделала шаг, другой, третий, но попробовала бежать — упала.

— Не торопись, это требует навыка. Сегодня мы никуда не пойдем. Удалимся от дороги к опушке и поучимся. Все одно среди бела дня на *хидзумэ* не походишь — люди увидят. Днем будем с тобой идти обычно, медленно, а в темноте можно и побыстрее. Я тебя после, когда привыкнешь к *хаяаруки*, еще обучу искусству *хаябасири*, быстрого бега на ходулях. Это труднее.

И до самого вечера Ката училась копытному ходу. Набила синяки, падаючи, натрудила до нытья щиколотки, но дедушка велел на пустяки внимания не обращать — она и не стала.

Зато ночью припустили по пустой, подзвездной дороге, будто ласточки по небу. Ката аж покрикивала от радости. Часа за два отмахали, сколько обычный странник прошел бы за целый день, и около полуночи догнали тех самых теток, с которыми Ката пособачилась утром.

Паломницы пристроились ночевать у обочины. Легли, укутались мешковиной, но одной, видно, не спалось. Вскинулась, села — увидела в лунном свете две быстрые, длинные, стремительные тени.

— Святой Боже, помилуй мя! — вскинулся тонкий крик.

— Домой иди, дура, к детям! — басом прогудела Ката и закатилась сатанинским хохотом.

Хорошо!

* * *

Так дальше и шли. Днем попросту, в темноте — на копытах. Ели раз в день, скудно, но Кате вроде хватало. Живот сжался, привык. И спать было уже не холодно. Проснешься ночью, промерзнув, пошепчешь: я т-травинка, я т-травинка, и снова проваливаешься в отрадный сон, про луга и травы.

Дорога шла все лесом. На закат, до Двины, потом вдоль реки на юг, до брода. Пересекли воду, не раздеваясь, и Кате мокрота показалась нипочем, только взбодрила, хоть день выдался холодный. После, на ходу, быстро разогрелась.

Так далеко от дома она никогда не попадала, и всё вокруг казалось в диковину, но глазеть по сторонам было некогда: то слушаешь, то думаешь.

Это Симпэй так велел.

— Учение у нас с тобой будет такое. Сначала я долго говорю, потом ты долго думаешь, а мы молчим.

Она думала «долго» — это час, ну два. Но он как начал плести словеса, так не остановился до вечера, у Каты уже стал ум за разум заходить.

Наслушалась про страну *Ниппон* и ее обычаи, про места с чудными названиями и людей с небывалыми именами, про диковинные события и неслыханные явления.

Иногда задавала вопросы — это разрешалось, если сначала поднять руку.

К примеру, спросила:

— А какой он был, святой Мансэй? Благостный, вроде Николы Угодника?

— Вовсе нет. Он не был святым, не был благостным, и уж того паче не был угодником. Я тебе расскажу одно предание, записанное в наших книгах.

Дед на миг сомкнул веки и завел нараспев, будто заправский сказитель, что, бывало, забредали в Авенирово городище гласославить староверческих святителей.

— ...Как пошла слава по всей Яматской земле о мудром старце и его истине, надумал сам царь-государь Тэмму Дзёмэевич со бояре и столбовые дворяне принасть к осиянному источнику великой учености. Спустился царь с коня пред вратами обители, вошел пеш, низко поклонился сидевшему во дворе Мансэю и молвил: «Научи меня самому главному, что должен знать живущий на свете». Старец на то ничего не ответил, а поднялся, отошел к кустам и стал справлять нужду, даже не прикрывшись.

Ката хихикнула, представив себе эту картину. Подумала: наши юродивые тоже так делают, чтобы с суетливых спесь сбить.

— А этот Змеевич что?

— Царь-то ничего, но бояре с дворянами закричали: «Как тебе не стыд творить такое пред батюшкой-государем!». Мансэй же, закончив свое дело, ушел в храм, так ни слова и не сказавши. Но царь был мудр и всё понял. «Пишите великую истину, — велел он писцам. — Единый стыд, который надлежит иметь человеку, — стыд пред самим собой. Человек один — судья своих поступков, да такой, которого не обманешь и от которого не скроешься. Веди себя всегда так, чтобы не было самого себя стыдно, а прочее — пустяки. Что думают о

тебе другие, не имеет значения». И царь поклонился вслед Мансэю еще раз, теперь до земли, а открывшуюся истину начертал золотой тушью на свитке и приказал повесить в тронной зале. Но жить по этой истине, конечно, не стал.

— Почему?

— Потому что он царь, ему нельзя. А тебе можно и должно.

И сразу заговорил про другое, не менее диковинное.

Сначала она слушала, боясь упустить хоть слово. Потом, устав умом и слухом, просто бессмысленно внимала. Наконец, перестала и слушать.

— Это ничего, — сказал Симпэй, увидев, что спутница зеваает на ходу. — Не старайся всё сразу усвоить и понять. Знания — как зерна. Одни засохнут, другие прорастут. А завтра будем долго молчать.

И опять оказалось, что «долго» — это весь день, с восхода и до заката. Если Ката что-то говорила или спрашивала, дедушка подносил ко рту палец и потом стучал себя по точке на лбу: молчи и думай.

Зато на третий день, истосковавшись по мягкому голосу и мыслепудительным речам, Ката впитывала их, как истомленная засухой земля всасывает дождь.

Четвертый день пути, опять безмолвный, они шли нескончаемым, дремучим сосновым бором-беломошником. Пригревало солнце, над бочагами с талой водой вились тучи пробудившихся майских комаров. Ка-ак они накинута на Кату — и давай в уши пищать, да жалиться. А дед шлепать иродов запретил.

— Один из наиглавнейших законов нашей веры называется «Канон о Неубиении Живых Существ». Нам, монахам, нарушать его нельзя. Всякая жизнь для нас священна.

— Чего это? — возмутилась Ката. — Сам говорил: это мой мир, я его себе придумала. Значит, и комаров тоже я придумала. Сама придумала, сама и приклепну.

— Можно смотреть на это и так, — не стал спорить Симпэй. — Но это будет означать, что ты не вынесла даже такого мелкого испытания, а это слабость. Не нравится тебе комары — напряги свою душевную силу и придумай мир, в котором комаров нет.

— Ага, сейчас, — угрюмо буркнула она, но комаров больше не била. Пусть подавятся ее кровью.

К ночи, однако, всё тепло ушло, комары пропали, а к рассвету стало совсем студено. Кате приснилось, что она травинка, на которой не роса — иней.

Толкнула спящего Учителя.

— Дедушка, вставай на копыта. Пойдем, а? Зябко!

Зацокали по одубелой земле, но согрелась Ката не сильно. Холодина была — того гляди снег пойдет.

— Выкинул ты мой платок-то, — ворчала Ката. — Вот сейчас завернуться бы.

— Вы, русские, очень мерзлявы, — укорил ее Симпэй. — Вечно кутаетесь в овчины да меха, носите тяжелые шапки, от которых в голове развивается глупость, патапливаете дома до истребления всякого воздуха.

— Так у нас зимы какие!

— Плоть у вас порченная, вот что. Что такое тело? Конь, на котором едет по Пути твой дух. Хороший хозяин коня бережет, но не закармливает. Чистит и любит, но не балует. Правда, Мансэй, отроду верхом не ездивший, сравнивал тело не с конем, а со свирелью, которая у хорошего музыканта играет волшебные мелодии, а у неумехи издает смешные звуки.

У Каты тело сейчас напоминало не свирель, а барабан — так сжалось и отвердело, хоть бей по коже палочками дробь.

— Дедушка, дай понести твой мешок. Хоть спина будет теплей!

— Мерзнет не спина, мерзнет твой неокрепший дух, — безжалостно заявил Симпэй, раздвинул густые ветви кустарника и воскликнул:

— Ты лучше погляди, какую я придумал красоту!

За кустами открылся вид на озеро, в которое выдавался длинный язык земли, и на том полуострове золотился куполами, сиял белокаменными теремами предивный монастырь, словно спустившийся в эти пустынные леса прямо с неба.

* * *

— Должно, Свято-Троица, — сказала Ката, тоже залюбовавшись. — Больше нечему.

Вот он каков — Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, величайший и славнейший на всей Архангелогородчине!

Эта обитель возвысилась после того, как здесь отомился ссыльный боярин Федор Романов, будущий патриарх, прадед царя Петра. Князь Василий Васильевич, упокой его душу Христос с Буддою, говаривал, что то был муж умнейший, не чета сыну, внуку и правнуку.

— Тот, кто построил такой красивый *соин* в таком красивом месте, должен был иметь красивую душу, — задумчиво молвил Учитель. — ...Но вряд ли он обладал пронизательным разумом. Настоящий мудрец в красивом месте *соин* не поставит. В зримой красоте слишком много соблазна. Она отвлекает, мешает обратить взор

инутрь себя. И не слишком ли эти постройкИ кичатся своим великолепием?

— А чего им не кичиться, когда денег много. Все окрестные леса монастырские. Что одного оброка с охотников пушниной берут! Вот и строятся. Авенир горюит, с никонианством из Свято-Троицы вся благодать ушла и ныне се гроб повáплeнный... Однако тепло у них, и гробу-то, — с завистью прибавила она, глядя на дымки, поднимающиеся из труб над братским корпусом. — Топят, излишеством не считают... Ох, обогреться бы.

Симпэй укоризненно посмотрел на ученицу, вздохнул.

— Ладно. Вторая ступень нелегка, сразу к ней не привыкнешь. Что ж, согрей своего продрогшего коня. Побудем здесь малое время, прикинемся богомольцами. А я посмотрю на отшельников, живущих среди подобной красоты. Ее сияние должно было отразиться и на красоте их душ.

Они прошли к перешейку, соединявшему полуостров с берегом. Туда по хорошо утоптанной дороге тянулись и другие паломники — они шли сюда со всего Севера, иногда за двести иль триста верст, почтить память древнего чудотворца Антония, попросить его всяк о своем.

В самом узком месте, под большим деревянным крыжем, люди вставали в очередь за благословением. Оно в Свято-Троице было особенное. Встречали богомольцев двое монахов, у одного в руке плеть. Каждый приходящий, творя крестное знамение, кланялся до земли, получал удар по спине и лишь после того допускался в обитель.

— Зачем это? — с любопытством спросил Симпэй.

— Беса изгоняют. Иеромонах читает молитву, послушник лупит, — ответила Ката, ежась. Плеткой по спине через одну рубаху получить несладко.



У бабы, что стояла впереди, спина была подозрительно толстая — знать, что-то мягкое проложено.

— Что ж, это хороший обряд, — сказал дед. — Напоминает о смирении. У нас тоже во время чайной церемонии сначала нужно согнуться в три погибели, чтобы пройти через низенькую дверь. Тому, кто стремится духом вверх, следует иногда и смотреть вниз, на землю. Хотя, конечно, большинство живущих — люди земли и видят лишь то, что у них под ногами. Людей неба на свете мало.

— А надо быть человеком неба, да?



— Вовсе не обязательно. Надо быть собою. И главное, не ошибиться, а то иногда человек земли воображает себя человеком неба, смотрит вверх, а видит все равно истоптанную грязь.

Ката наморщила лоб, стала про это размышлять. Оттого и совершила ужасную ошибку, по задумчивости.

Когда пришла ее очередь благословляться, поклониться поклонилась, а перекрестилась привычно, двумя перстами, не по-никониански.

— Ах ты, пащенок раскольничий! — возопил старший монах. — Поглумиться пришел над святынями!

Хватай его, брат Афинодор! Всыпь поганцу не легкою лозою, а десяток горячих по заднице! Сымай портки, песий сын!

Окоченев от ужаса, Ката схватилась за веревку, что опоясывала ее перешитую юбку. Снимать портки ей было никак нельзя. Обернулась на дедушку: что делать?

Тот стоял недвижно, лицо каменное. А и чем он тут мог помочь?

Хотела Ката бежать прочь, но второй монах, здоровенный мужичина, ухватил ее за шиворот, поволок в сторону, швырнул на траву, прижал плечи к земле. Как она ни билась, как ни брыкалась — не вырваться.

— Ишь, бес его крутит! — крикнул старший. — Заголяй!

С Каты рывком стянули порты — и вдруг отпустили.

Она скорей села, подтянула штаны обратно, но было поздно. Монахи таращились на нее с ужасом.

— Изыди, соблазное наваждение! — бормотал брат Афинодор, мелко крестясь. — Помогай, святой Антоний! Грешен, много грешен, за то и искушаюся!

Старый, однако, в наваждение не поверил.

— Девка?! Срамница стриженная! — прошипел он. — Ну ужо будет тебе! Не крестись ты, дурень, а волоки ее в скорбную! Преподобный решит, что с нею, кощунницей, делать.

Когда Кату потащили прочь, она снова обернулась на Симпэя. Он оставался неподвижен, невозмутим. Даже не кивнул в ободрение.

«Скорбная» оказалась каменным погребом. Маленькое окошко, посередине разделенное железным прутком, было почти вровень с землей. Снаружи, а еще

больше от сырых стен тянуло холодом. На полу ворох прелой соломы — на нее узицу и швырнули. Загремела окованная железом дверь.

Некое время Ката ни о чем не думала, а только грядлась от пережитого страха. Потом стала себя успокаивать.

Оно конечно, девке ходить в мужском платье, да стриженной — великий грех. Двоеперстно креститься на никонианскую святыню тоже худо. И за первое, и за второе жди суровой кары. Однако здесь девку карать не будут. Нельзя им, они монахи. Отправят на расправу в женский монастырь, а поблизости таких нету — только в Бельске. Значит, повезут. Так по дороге и бежать можно. Или дедушка Симпэй что придумает. Не бросит же он Орехового Будду, да и ученицу свою не оставит.

Сообразив, что прямо сейчас муки не будет, а потом, глядишь, как-нито обойдется, Ката начала обустриваться.

Чтоб было теплее, зарылась в солому. Поуживалась себя: я травинка, я травинка — и ничего, стало полегче. Все же за эти дни немного пообжилась на второй ступени, пообвыклась.

А когда почти совсем уже успокоилась, лязгнул засов, отворилась дверь, и в ярком прямоугольнике света возникла узкая, заостренная кверху черная тень.

* * *

Это был монах в лиловой шапочке-скуфье, в тонко-суконной рясе, с эмалевым крестом на груди, с резным в руке посохом.



— Я здешний настоятель, архимандрит Тихон, — сказал вошедший мягким, приятным голосом. — А ты кто, дочь моя? Поворотись-ка лицом к свету, дай на тебя посмотреть...

Был он нестар, без единого седого волоска в ухоженной бороде, челом гладок, взглядом ласков.

Повернуться Ката повернулась, но отвечать не спешила, не успела еще придумать, что врать. Не ждала, что архимандрит превеликого монастыря так быстро явится по пустяшному делу.

Но загадка сразу же объяснилась.

— Родинка на лбу, веснушки... — пробормотал как промурлыкал преподобный. — Так вот ты кто. Беглая Катерина из Соялы. Про тебя нарочный был от важно-

го государева человека. Надо же, по всем дорогам тебя ищут, а Господь привел ко мне. Как сказали мне про переодетую девку, я подумал: уж не беглянка ли? Так и есть. Что ж, это благо — государеву делу помочь.

Очень он был доволен, а Ката вся сжалась. Худые были дела, совсем худые. Никакого женского монастыря теперь не жди. Одно утешение — князева книга в мешке у дедушки, не отберут.

— Ныне же отправлю чернеца-сорохода к фискалу в Архангельск, шесть дён идти будет. Те-то верхие обратно в два дня доскачут, так что ты, дево, у меня тут боле недели погостишь. И како жить будешь, легко иль гужно, от тебя зависит. Расскажи мне как на духу, почему тебе, сопливице, от большого государева человека такое внимание? Тоже и у меня свое начальство есть, ему доложу. А еще, признаюсь, грешен любопытством. Потешь меня, и я с тобой обойдусь по-доброму. Запру не здесь, а в теплой келье. Велю кормить с моего стола. Ну?

И впился острым взглядом, изготовился слушать.

Что ему было сказать? Про князя Голицына и его трактат? Но дед Симпэй, может, еще здесь. Архимандрит прикажет — схватят, книгу отберут.

Ката молчала.

— Поди, голодная? — спросил тогда Тихон участливо. — Эй вы, сюда!

Вошли два статных послушника. У одного на блюде каравайка грубого отрубного хлеба и глиняный кувшин. У другого — белые пироги горкой и тоже кувшин, но стеклянный и в нем рубиновое питье.

— Пироги с клюквенным киселем либо отрубя с водой, — показал преподобный. — Пошепчись со мною — и кушай лакомое. Откажешь — жуй черняшку. Что выберешь?

Она ткнула пальцем на черный хлеб.

— Ишь какая. Ладно. Завтра еще поговорим.

И вышел, искунитель.

Осталась Ката одна со своим страхом. Ох, что-то будет?

О пирогах не жалела, насытилась грубым печевом. Еда и еда, какая разница.

Сидела в соломе, надеялась на дедушку. Самой ей отсюда было не выбраться.

* * *

Назавтра преподобный явился снова и теперь был суров.

— То еще сразумей, что каких бы вин за тобою прежде ни было, греховным своим переодеванием ты их усугубила. Знаешь, как прописано в уложении? Баба иль девка, что рядится в мужеское платье, помрачена дьявольским духом и надлежит, ради ее же души спасения, очистительному на костре сожжению, — объявил он. (Правда иль нет, Ката не знала.) — И жгли таких, было. Но фискал о твоём новом преступлении не ведает. Хочешь, прикажу тебе юбку дать? Моя власть, могу.

Пирогов он сегодня не предлагал. Когда кликнул послушника, у того на блюде был только хлеб с водой.

— Скажешь правду?

Ката помотала головой. Дедушка где-нибудь близко. Думает, как ее выручить. А признаешься Тихону — Учителя схватят.

— Что ж, всяк грешник готовит себе муку сам. Много тебе целого каравая будет. Оставь ей половину, сын мой.

Ничего, хватит мне и этого, думала Ката, оставшись одна. Дед Симпэй, когда кормил, не больше давал.

Ох, где он?

* * *

На третий день архимандрит не вошел, а ворвался, несся злой-перекошенный, и сразу начал браниться.

— Думаешь, я не знаю, отчего ты платье девичье скинула, отроком обратилась? — зашипел он, наклонясь к ней близко и брызгая слюной. — Знаю, насквозь тебя вижу! Ты уродина и хорошо про то ведаешь! Рожа, будто черти горох молотили. На лбу отметина. Рот лягуший, нос утячий. Ненавидишь самое себя, естеством своим брезгуешь! Никто никогда тебя не захочет в жены, ни даже в полюбовницы! И упрямство твое того же корня! Мучаешь свою плоть, ибо не можешь ей простить безобразия! Оттого и еройствуешь! Это у тебя такое блудострастие, как у многих ваших раскольничьих самосожженцев!

Ката от обиды, от унижения заплакала, а он ткнул ее в затылок жестким пальцем.

— Плачь, уродина, плачь. Мокрица жалкая! Говори, в чем перед государством провинилась! Покайся! Не мне — Богу! Никому, кроме Него, ты не нужна, не мила!

— Не в чем мне каяться, — прошептала Ката, всхлипывая. Неужто она и вправду такая безобразная? А и пусть. Монахине все равно.

— Хватит тебе и четвертины хлеба, — сказал Тихон на прощанье, так ничего и не добившись.

Что ж, ничего. Хватило. Разломила на десять кусочков. Клала в рот, не глотала, ждала пока размокнет.

* * *

В четвертый день ее долго никто не тревожил.

Теплее не стало, но к холоду Ката привыкла, даже и солому уже не зарывалась. Лежала, глядела на потолок, представляла, что он не серый, а синий, со звездами и луной.

Больше всего тосковала по своим беседам с дедом Симпзем. Сколь о многом ей надо было его спросить!

Но Учитель пропал, будто никогда и не было. Может быть, она его придумала? Ведь говорил же он, что на свете, кроме тебя самой, никого нет?

Нет, он говорил, что есть ты и есть Будда.

Ката положила на ладонь орехового бога. Стала разговаривать с ним.

— Мне страшно. Что я одна. Что скоро приедет черный и станет меня мучить. Что я не выдержу и расскажу про Симпзю и книгу. Дедушку легко найти, он тут один такой на тыщу верст, узкоглазый.

Будда молчал, слушал.

— А еще очень есть хочется. Высока мне вторая ступенька. Мне бы хлеба, Буддушка. Хоть четвертинку. Хоть осьмушку!

И тут дверь открылась, и вошел преподобный, а за ним двое послушников, и у первого на блюде осьмушка хлеба с водой. Что у второго, Ката не увидела, глядя только на еду.

Тихон встал перед ней — сегодня не суровый и не злой, а раздумчивый.

— Растравила ты меня, упрямица. Только о тебе думаю. Не могу понять, что в тебе, девчонке, за сила

никая? Говорю себе, что бесовская, а сам сомневаюсь: идруг нет? Эта загадка для меня томительней, чем тайна, которую ты скрываешь. И надумал я, как быть. Не побоюсь фискалова гнева, отпущу тебя на все четыре стороны. Только докажи, что ты Божова, а не диаволова. Отвергни свое раскольничье лжеверие, прими миропомазание, перекрестись троеперстно. Смирись перед Господом и предо мной, его со людьми посредником.

— А потом все ж таки рассказать, зачем меня фискал ищет? — недоверчиво спросила Ката.

— Не до того мне! — В глазах архимандрита заблестели слезы. — Земные тайны — Бог с ними. Тут душа моя в замутнении.

Он зашептал:

— Ты, может, своих боишься, раскольников? Что проклянут тебя за отступничество? Так не узнает никто. Только ты и я. Послушникам велю за дверь выйти. Покорись — и свободна. А государевым людям, когда прискачут, скажу — сбежала. Что они мне, Свято-Троицкому настоятелю, сделают? Руки коротки.

Какая разница, креститься двумя перстами или тремя, сказала себе Ката. И вообще — что за дело до крестного знамения лысой буддийской монашке?

Вообразила, как выходит из каменного мешка под небо и солнце, бежит отсюда прочь, прочь, прочь! И ведь правда же — не узнает никто, а сего многоликого змея она никогда больше не увидит.

Но вспомнила про стыд перед собою. От себя не убежишь и из памяти не вычеркнешь, как из малодушия предала Бога — пускай уже не своего, а все же возшедшего на крест и никого не предавшего.

Шмыгнула носом, покачала головой — боялась, что, если заговорит, дрогнет голос.

Тихон не удивился, будто этого ждал.

— Подумай, — сказал он с непонятно лукавой улыбкой. — Хлеба тебе дам вдвое меньше, уж не взыщи — такой у нас с тобой созданся обычай...

Поманил первого послушника. Тот поставил на пол кувшин, накрыл его сверху малым ломтем хлеба.

— А еще оставлю тебе советчика. Чтоб ясней думалось.

Подозвал второго, что держался подле двери.

Послушник протянул обе руки — и Ката замигала. В них, бережно обхваченный пальцами, спал мохнатый и круглый, будто клуб шерсти, щенок.

Не веря глазам, она взяла его и прижала к груди. Щенок оказался теплый, мягкий. Не просыпаясь, пискнул, зевнул беззубым ртом и розовым язычком лизнул ей ладонь.

— Играйтесь, — все так же странно улыбнулся преподобный. — Завтра снова приду.

И сырая, тесная темница наполнилась жизнью, радостью, теплом. Кутенок оставался тих недолго. Скоро он открыл шебутные глазенки, будто вовсе и не спал, а прикидывался. Тявкнул. Соскочил с Катиных колен и принялся носиться по полу, знакомясь с миром, в котором проснулся. Немножко побоялся лежавшего у стены пука соломы, обтявкал его, потом набрался храбрости и растрепал грозного врага в клочки. Заливисто порадовался своей победе. Гордый вернулся к Кате.

Она нарекла его Добрыней, потому что красотой и отвагой он был похож на Добрыню Никитича.

Но малое время спустя собачонок проголодался, стал разевать пасть, жалобно пищать.

Только теперь Ката поняла, отчего улыбался змей. Кроме как осмущкой кормить Добрыню было нечем.

Откусила крошечный кусочек хлеба, пожевала. Ужасно хотелось проглотить, чтоб унять корчи в животе, но выплюнула кашицу на ладонь, протянула щенку. Тот жадно собрал мягкими губками, вылизал, потребовал еще. Так весь хлеб и слопал, а Ката осталась голодной.

Зато ночью спала, прижавшись щекой к маленькому живому существу, и это было счастье.



* * *

Преподобный явился утром — видно, ему не терпелось. Монахов с ним не было.

Весело спросил:

— Полюбила сукина сынишку? Не объел он тебя? — Засмеялся. — Гляди. Сегодня хлеба тебе вовсе не принес, одну воду. Но принес и сосуд со священным миром.

Показал малую бутылку.

— Покоришься нам с Господом — и иди себе куда хочешь. Песёнка с собой бери, на память о мучившем тебя ради твоей же души пастыре. Поняла ты мою притчу иль нет? Это, — он показал на щенка, — жизнь и радость. Их слушай, а не суетордых бесов.

— Не могу, — тихо ответила Ката. — Стыдно. А Добрыню я соломой покормлю. Разжую получше и покормлю...

Лицо архимандрита исказилось страшною судорогой. Он шагнул вперед, подхватил щенка, кинул на пол, придавил сапогом.

— Ты сатаница! Всю черноту и скверну во мне взметнула! Беса в душу вселила, и он меня корчит, мучает! Покорись, не то раздавлю кутенка! Ради спасения своей и твоей души не пожалею! Ну?!

Придавленный щенок жалобно запищал.

Без колебаний, быстро, Ката упала на колени и стала креститься тремя перстами — снова и снова.

— Верую в твоего Господа, по-твоему верую! — закричала она. — Мажь своим миром! Только отпусти Добрыньку!

Глаза преподобного вспыхнули торжеством.

— То-то. А ныне говори, почто тебя государевы люди разыскивают.

Ката не стала напоминать, что уговор был только про троеперстие. Очень уж плакал бедный Добрынька.

— Не я им нужна, а книга.

— Какая еще книга? — сдвинул брови архимандрит. Лицо у него ходило, дергалось. — Что ты врешь?

— Заветная! Про обсу... обустройство русской земли! Чтоб все жили по правде и спра... справедливости! — сбиваясь от страха, стала объяснять Ката.

— Ты глумиться надо мной?! — задохнулся яростью преподобный. — Станут государевы люди из-за какой-то книги лошадей гонять! Плевать государевым людям на книги! Лживая ведьма!

Поднял ногу. С хрустом впечатал. Писк оборвался. У Каты помутилось в глазах.

Застучали яростные шаги.

Хлопнула дверь.

* * *

Остаток дня она просидела в углу, лицом к стене, чтобы не оборачиваться, не смотреть на маленький трупик.

В углу было темно, и Кате казалось, что дня нет, одна нескончаемая ночь. Иногда она задремывала. Ей снилось страшное, просыпалась с плачем, вспоминала про случившееся и плакала еще горше.

Есть было нечего и не хотелось, но Ката не прикоснулась и к воде.

А в сумерках — вечерних или утренних, она уже не знала — сзади снова скрипнула дверь, слышались медленные шаги. Кто-то сел на пол, рядом. Мягкая рука погладила Кату по затылку.

— Измучил я тебя, бедную. И сам измучился...

Повернула голову — увидела полные слез глаза архимандрита.

— Грешник я. Скверный грешник. Не с тобой, с гордыней своей сатанинской воюю. Не могу терпеть, когда передо мною не склоняются. Оттого и живу здесь, в лесной пустыне, а не в Москве или Петербурхе, хоть многожды зван. Тут я первый надо всеми, а там буду средь иных, меня высших. Пожалей меня, девка. Видишь, до какого злобесия ты меня довела. Раскройся предо мной душой, яко жена раскрывает мужу свое тело. Расскажи всё, что знаешь. Помилосердствуй над порченным, тебя за то Бог наградит, а мне уж, видно, пропадать...

Она отвернулась.

И долго он говорил жалобное, и молил, и плакал, а уходя забрал мертвое тельце с собой.

Но унес и кувшин с водой, ни капли не оставил.

К исходу дня горло у Каты ссохлось до скрипа, словно туда насыпали песка.

Но это ее не мучило. Ее больше ничего не мучило. Потому что ничего не осталось. Ни мыслей, ни желаний, ни надежды на избавление. Одна пустота.

* * *

Но оказалось, что еще есть страх.

В последний, восьмой раз архимандрит пришел под конец дня, когда в темницу лился косой свет заката.

Сначала вошел послушник с блюдом, на котором была всякая снедь — и пироги, и моченые яблоки, и

пшеничный хлеб. Поставил всё это богатство перед Катой, удалился.

Потом возник и Тихон. Не жалкий, не яростный, а спокойно отрешенный.

— Не буду тебя боле истязать, — сказал он ровным голосом. — Завтра, должно быть, прискачут государевы люди, увезут тебя к иным истязателям, мучительней меня. Не знаю, что у тебя за тайна, но знаю, как ее будут у тебя выпытывать. Сначала подвешат на дыбе, выломав плечевые суставы. Потом сдерут со спины кожу кнутом. Будут поливать раны соленой водой. Прижигать горящим веником. Сомлеешь — дадут полежать, обольют из ведра. И снова. Не станешь говорить — замучают до смерти. Но то уже будет не мой грех. Пока же ты еще здесь — ешь, пей. А увезут — буду о тебе, твердовыйной, молиться. Христос с тобой, дочь моя.

Тихонько, сам себе, добавил: «А не со мной» — и ушел.

К еде Ката не прикоснулась, только попила квасу из кувшина. Ей было очень страшно. Господи, ведь чертов поп правду сказал! Увезут в застенки, станут мучить, как Фому Ломаного мучили, он рассказывал! Фоме-то что, он всех выдал, и его, хоть покалеченного, но отпустили. А ее не отпустят. Книжки-то нет, и неизвестно, где она теперь. Кто поверит сказке про японца, унесшего книгу в мешке? И где он ныне, тот японец? И будут терзать Катю всё более ужасными, нескончаемыми терзаниями до самой смерти...

Господи Иисусе, господи Будда!

Плакала, скрежетала зубами — в точности как в Матфеевом писании: «плач и скрежет зубовый». Ночью, устав плакать, провалилась в сон, но скрежетала зубами и во сне.

Открыла глаза в темноте, и опять: крррр, крррр. Скрежещет.

Не сразу и поняла, что звук не изнутри, а от окна. Что-то там противно, душеотвратно скрипело. Покачивалась тень, заслоняла лунный свет.

Думая, что продолжается сон, Ката — явно ли, в сонном ли видении — поднялась, медленно приблизилась.

И услышала голос.

Голос молвил:

— Крепко спишь, ученица. Я уж прут сверху перепилил, теперь снизу допиливаю.

— Дедушка! — пролепетала она. — Я уж не чаяла! Думала, ты меня бросил!

— Учитель ученика бросить не может, — назидательно ответил Симпэй. — А Хранитель не может бросить Орехового Будду.

— Где же ты был? Добывал напильник? Иль не мог к окошку подобраться?

— Зачем напильник, если есть мой нож. Он и железзо перетирает. А подобраться сюда ночью нетрудно. Но нужно было дать тебе время обжиться на второй ступени.

Прут тихонько крикнул и поддался. Окошко было свободно.

— Лезь. Я спилил под корень, не оцарапаешься.

Ката примерилась — и похолодела.

— Не пройду я! Узко!

Он просунул руку, пальцами померил ей плечи, потом оконницу.

— Да, тесно. Сымай рубаху, тут каждый четверть-вершок на счет. И — головой вперед, как из утробы. Уши пролезут, пролезет и остальное.

Она протянула в окошко рубаху, сунулась головой. Но плечи застряли — никак.

— Сейчас будет больно. Не шумни.

Симпэй взял ее за шею своими мягкими, но удивительно сильными пальцами, стал плавно тянуть.

Тело немного продвинулось вперед и встало намертво, стиснутое с двух сторон. Дедушка уперся коленом в стену, рванул.

— Ммммм! — подавилась стоном Ката, чувствуя, как сдирается с плеч кожа.

Но в следующее мгновение полегчало, и ученица выскользнула из дыры, повалилась на Учителя.

Чтоб не заорать, со свистом втягивала воздух. Обхватила горящие плечи руками — пальцы намокли от крови.

— Тихо... Дозорные услышат.

Симпэй показал на костер, горевший под деревянным крестом — в самом узком месте перешейка, что соединял монастырь с берегом.

— Хорошо, что у этого *соина* вместо крепостных стен вода, — сказал Учитель. — Мы уйдем вплавь.

Кусая губы, Ката пошла за ним в темноту. За братскими кельями был спуск, под которым чернела вода. Она была ледяная, но холод ослабил боль.

Плавала Ката хорошо (выросла-то на реке), но за дедом не поспевала, его блестящая под луной башка быстро отдалялась.

— Пробежим. Согреешься, — сказал он, вытягивая ее за руку на берег. — У меня в лесу шалаш.

На бегу Ката в самом деле согрелась, но зато снова засадила ободранная кожа — хоть вой. И опять засочилась кровь.

Ничего! Бежать через лес, по свободе, не вдыхая смрад темницы, было счастьем.

Дед сызнава легко ее обогнал, и скоро она уже еле видела серое пятно его спины.

Впереди показалось слабое свечение. Это на полянке, близ листовяного шалашика, тлел умело разложенный костер: чтоб горел неярко, но долго не гас. Симпэй подбросил веток, огонь стал жарче.

— Сейчас, сейчас, — уютно приговаривал дед, роясь в своем мешке. — Ага, вот. Давай-ка плечо.

Она, морщась, подставила рану, дожидаясь облегчения от боли.

— Что это за белый порошок? Лекарство?

— Лекарство, лекарство, — кивнул он и сыпанул на содранное место.

Обожгло так, что Ката не сдержалась — заорала во все горло.

— Аааааа!!! Чем... чем это ты?

— Солью.

— Какая же соль лекарство?!

— Очень хорошее. Не для твоей раны, а для твоего духа, который готов постичь третью ступень. Пора нам продолжить учение.





СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ

Синий лес

Сушить одежду подле костра было необязательно, но девочка выглядела такой измученной и продрогшей, что Симпэй сделал ей поблажку. В деревне он достал сытной еды. Дал Кате несколько глотков молока и одну ложку меда. Больше было нельзя — не выдержит иссохший живот. Содранные плечи смазал травяным соком, чтоб не загноились и быстрее зажили. Но, делая всё это, не говорил добрых слов, которые размягчают душу. Жалость опасна, она поощряет слабость. Ничто не должно поощрять слабость. Хочешь и можешь помочь — помоги, но не ослабляй.

А чтобы ученица не жалела сама себя, он сразу повел ее дальше по Лестнице.

— Третья ступень включает в себе владение болью. Она бывает двух видов: боль души и боль тела. Над первой ты властна. Прикажи себе: из-за этого я страдать не буду, и, если твой дух хорошо выучен, он послушается. Но боль телесную причиняет внешний мир,

когда он тебя ранит или проникает в твою плоть. С такой болью управляться труднее. Тут надобен навык.

— Сказать себе, что я боль придумала, да? — спросила Ката-тян, с сомнением глядя на свое плечо, где начинала запекаться корка. — Я попробую...

— Нет, при сильной боли не получится. Боль — доказательство того, что ты существуешь на самом деле. Она не снится.

— А что же?

— Надо научиться с ней разговаривать.

— С болью?

Он помог ученице надеть рубаху.

— Когда тебе бывает больно? Когда твоё тело, твой конь, твой верный пес, жалуется, что ему плохо. Просит тебя: «Хозяйка, выручай!». Что ты сделаешь, если твоя собака скулит? Знаешь, как помочь — помогаешь. Не знаешь или не можешь — утешаешь. Говоришь: «Ты не одна, я с тобой. Я твой хозяин, я тебя не брошу». Собака поскулит, поскулит и перестанет.

— Ужто? — недоверчиво спросила ученица.

— Гляди сама.

Симпэй задрал рукав, взял из костра головешку, приложил к голому локтю и держал, пока не запахло паленым. Морщился, шевелил губами. Потом морщиться перестал.

— Моя боль — как ручной медведь. Велю — рычит, велю — плачет, велю — на задние лапы встает.

У девочки загорелись глаза.

— Дай! Я тож попробую!

— Не так быстро, — засмеялся Симпэй. — С телом учатся говорить постепенно. И начинают с простого. Вот ты устала, ослабела, а нам нужно идти. Потому что утром в монастыре хватятся, что узница сбежала, и бу-

дут тебя искать. Нам надо встать на копыта и уйти сколь можно дальше. Поговори со своим телом, попроси его, чтоб сыскало в себе силу. Скажи ему: «Я плохо тебя кормила, но это не оттого, что я тебя разлюбила. Послужи мне, яви милость. А я тебя после награжу».

Глядя, как она, зажмурившись, шепчет, Симпэй улыбался. В пятнадцать лет убедить тело, что оно не устало, легко. Это можно и без Мансэевой науки.

Девочка тряхнула волосами, вскочила на ноги.

— У меня получилось! Тело меня услышало! Оно готово!

— Пристегивай копыта. Путь не ждет.

Скоро Симпэй, за эти дни хорошо изучивший округу, нашел лесную дорогу, что вела на юг. Она была частью в тени, частью под луной, и быстрые ходки неслись по ней, будто сквозь время: светлый день, темная ночь, светлый день, темная ночь.

Ката-тян, плача, рассказывала про убитого щенка, про то, как ей пришлось выбирать между предательством истинного креста и спасением невинной жизни и как она предать предала, а спасти не спасла.

— ...Знай еще и то, Учитель, что ежели бы архимандрит поверил про книгу и спросил, у кого она, я бы и тебя выдала, — каялась девочка. — Предала бы тебя из-за собаки! А как поступил бы ты? Что бы выбрал?

— У нас это называется «Искушение ложным выбором», — ответил Симпэй неохотно, потому что задача была трудная, не для первого и даже не для второго этажа. — Нельзя попадать в ловушку, когда единственным выбором представляется одно из двух зол. Например, между двумя предательствами. Это Путь испытывает твою твердость, показывает развилку из двух дорог: и по одной идти плохо, и по другой, а назад не

повернешь. Но есть еще одна развилка, никогда о ней не забывай.

— Какая?

— Жить дальше или не жить. Этот выход никто и никогда у тебя отобрать не может, потому что жизнь принадлежит тебе. Ты всегда можешь сказать: «Мне перестал нравиться этот сон. Всё, Будда, я просыпаюсь». И проснись. Тогда твоя верность (чем бы она для тебя ни была, пускай двумя сложенными пальцами — неважно) и твоя любовь (пускай к щенку) останутся целы. А ты проснешься и будешь видеть в следующей жизни новый сон. Или не проснешься, а навек сольешься с Буддой. Это еще лучше.

— Легко сказать! Я бы в тот миг лучше померла бы, но как это сделаешь? Помереть, чай, не просто!

— Всё просто, если умеючи. Этому искусству я тебя тоже однажды научу. Чтобы ты никогда ничего не боялась. Но не сейчас, а в третьем Жилье. Пока рано.

Слезы у девочки высохли. В этом возрасте лучшее средство от них — любопытство.

— А сколько всего Жильёв?

— Восемь.

— Ого! А в котором ты? В самом высоком, да?

Симпэй вскинул ладонь и остановился.

Его кожа вдруг ощутила *акую*, запах Зла.

Этот навык оттачивается долгим учением. Для Хранителя он необходим. Во время праздников того или иного из «семи богов» в Храм приходит множество людей, среди которых могут оказаться безумцы. Иногда появляется человек, страдающий от своей никчемности и боящийся, что после смерти о нем быстро забудут. Одержимый голодом славы — любой, хоть бы и черной, — такой человек может захотеть уничтожить

великую святыню и тем самым навсегда остаться в памяти потомков. Такое случалось дважды. В эпоху Тэндзи некий торговец поджег сосуд с маслом и пытался бросить его в алтарь. А в эпоху Бунроку бродячий самурай выхватил меч и успел изрубить им пять внешних богов, прежде чем злодея обезоружили.

Поэтому Хранители, незаметно стоящие в тени алтаря, полагаются не только на зрение, но и на кожу: от близости Зла на ней выступают мурашки.

Именно это произошло сейчас.

— Ты чего, дедушка?

— Мы дальше не пойдем, — сказал Симпэй, глядя на кусты, вплотную подступавшие к дороге. До них было шагов двадцать.

Он пятился, тянул девочку за собой.

Но кусты затрещали, из них вылезли-выломались двое мужиков, у каждого в руке топор, за кушаком пистоль.

— Куды? Стой! — закричали они и через миг-другой были уже рядом.

Один, у которого правый глаз смотрел прямо, а левый в сторону, схватил за руку Кату. Второй, заросший дикой бородищей, вцепился в Симпэя. Оскалил зубы — они блеснули среди шерсти, словно ощерился медведь:

— Гляди, Косоглаз, твоего полку прибыло! Ты на одно око косишь, а этот на оба!

— Дура ты, Мохнач, — ответил второй и обернулся к кустам. — Чего с ими, атаман? Кончатъ что ли?

— Тащи сюда! — откликнулись кусты не мужским, а женским голосом.

Симпэй немного удивился. Что за новую диковину уготовил ему Путь?

* * *

За кустами открылась поляна. Там были еще двое, мужчина и женщина. Он низенький, но очень широкий, почти квадратный (Симпэй подумал: вся сила в плечах, а ноги слабые). Она — для лесной чащи чудно нарядная, в бархатном платье и шелковом платке, с белым лицом, насурмленными бровями, на тонких пальцах цветные перстни. Будто райская птица *гокуракутё*, ошибкой залетевшая в эти северные края. Необычная женщина, подумал Симпэй, заинтересовавшись ею больше, чем квадратным человеком. Очень красивая и очень опасная. Нет, не *гокуракутё*. Скорее лисица-оборотень *кицунэ*.

— На кой они нам, Павушка? Прибить, да во мхи кинуть, пока обоза нет, — сказал мужчина.

Из-за пояса у него торчала шипастая палица, под мышками, в ляшках, два пистоля. Главным здесь был он — ясно по тому, как на него смотрели Мохнач с Косоглазом.

— Погоди, Федул, это мы успеем, — мягким, грудным голосом проворковала Кицунэ, едва взглянув на Катю и затем — с долгим прищуром — на Симпэя. — Времени довольно. Как только казначей у запруды появится — Сенька прокукует... Не простые это люди. У меня нюх. Вишь, татарин как зыркает. Обшарьте их, ребяташки.

Взять на Симпэе и Кате было нечего. Разве что нож из его рукава. Кицунэ по имени Павушка осторожно потрогала каленую сталь *тамахаганэ*, оставила находку себе.

— Ну-тка, а в мешке у него что?

Симпэй нахмурился. В мешке у него было всякое.

Пока нехорошая женщина пыталась развязать сложный узел *катамусуби*, он смотрел на разбойни-



ков и слушал их разговор, определяя, насколько они грозны.

Пожалуй, очень. От атамана, которого двое остальных звали то Федькой, то Федулом, то Кистенем, исходил крепко въевшийся запах убийства. Это закоренелый злодей, бездумно, а может быть, и с удовольствием отнимающий у других жизнь. Косоглаз с Мохначом немногим лучше, разве что не такие сильные.

Скоро стало ясно, и чего разбойники здесь ждут. Из Архангельска должен вернуться монастырский казначей, ездивший продавать пушной оброк. Тати собираются напасть на монахов и отнять деньги, большие — несколько тысяч рублей. В шайке есть еще какой-то Сенька, он подаст знак, как только покажутся повозки.

— Чего возишься? — повернулся Федька Кистень к женщине. — Порешим их, а в мешке после пошаришь. Чего там может быть, а и куды оно денется?

— Порешить дело быстрое. Погоди...

Павушке надоело воевать с узлом, она вынула отобранный нож и разрезала веревку.

Ум шайки — Кицунэ, соображал Симпэй. Атаман ее во всем слушает.

Первое, что она достала из мешка, — книга старого князя Голицына. Раскрыла, поднесла к глазам.

Не только умная, но и грамотная, понял Симпэй. У русских женщин это редкость.

С трудом разбирая мелкое, Павушка медленно прочла самое начало:

— «Сей довод есть следствие долгих наблюдений и умозрительных замечаний, собранных на долгой дороге странником, тщившимся смотреть, внимать и думать, имея целью едино лишь повсеместное утверждение добрых законов и благого порядка...»

Кажется, князь Голицын постиг науку Пути, почтительно подумал Симпэй. Надо будет ознакомиться с мудрым писанием.

Но женщина истолковала прочитанное иначе.

— Ага! — воскликнула она с торжеством, захлопывая книжку. — Что я тебе говорила, Федул! Непростой это татарин! Вишь, чего пишет? Подглядываю-де по дорогам, подслушиваю, вынюхиваю заради закона и порядка. Шпыни это воеводские! Помнишь, что Венька Кривой сказывал? Воевода повсюду шпыней пустил, Федьку Кистеня добывать. Одни богомольцами обрядились, другие странниками. Гляди, что у него еще тут!

Она вынула кошель.

— Видал ты странников с золотыми червонцами?



Разбойники столпились вокруг, рассматривая монеты.

— Не простой это шпынь, а самый главный над всеми! — втолковывала им Кицунэ. — Допросить его надо. Пусть скажет: что им про нас ведомо, да сколько их, да где бродят.

— Ох Павушка, светлая головушка! — восхищенно прогудел атаман, мощной ручищей обхватил красавицу за плечо, громко поцеловал.

— То-то, меня слушайте, — ответила та.

И вдруг все замерли. Где-то недалеко закуковала кукушка.

— ...Три... Четыре... Пять... Шесть... Семь... — вслух сосчитал Федька. — Сенька! Пора! Вяжите этих к дереву! Пава, гляди, чтоб не шумнули.

Мохнач схватил за локти Симпэя, Косоглаз — Катю, поволокли к росшему посреди поляны дубу, ловко прикрутили веревками. Женщина, угрожая ножом, велела открыть рты и запихнула обоим кляпы: Симпэю его же выпотрошенный мешок, свесившийся на грудь; Кате — свой переливчатый платок.

Волосы у лесной царицы были гладкие, медные, на затылке собранные в узел. Лисица, как есть лисица.

Ощущая спиной жесткую кору старого дерева, Симпэй смотрел тревожный сон дальше. Чем-то он закончится?

* * *

Скоро появился еще один разбойник. Юркий, быстрый, бесшумный в коротких валяных сапогах, он прибежал по дороге.

Зашипел:

— Едут! Едут!

В шайке, видно, все было заранее сговорено. Женщина осталась подле пленников, держа наготове нож, а четверо мужчин залегли в кустах шагах в пяти друг от друга. Каждый достал пистоль, изготовил.

Сбоку от поляны, где кусты были редки, дорога неплохо просматривалась. Сначала донеслось неторопливое чмоканье копыт по мягкой земле, скрип колес, побрякивание сбруи. Потом, вывернув голову, Симпэй увидел сам обоз.

Впереди ехала легкая тележка. В ней двое: возница-монах и сзади, на скамейке, толстый человек, с большим серебряным крестом на груди — должно быть, отец казначей. Сзади еще два воза. На передке по креп-

кому чернецу: в одной руке вожжи, в другой ружье. Горко смотрят по сторонам.

Едут навстречу своей карме, не догадываясь, что Путь сейчас закончится, грустно подумал Симпэй. Помоги им, Будда, подняться выше в следующем рождении.

Обоз скрылся за кустами. Через полминуты один за другим грянули четыре выстрела, и потом какое-то время было очень шумно.

На дороге раздались вопли боли и крики ужаса. Загрещали ветки — это разбойники ринулись вперед: грое с топорами, атаман со своей шипастой палицей.

— Бей! Бей! — орали за кустами.

И еще:

— Господи помилуй!

И по-матерному.

Слышались звуки хрустких ударов. Добивают раненых, сказал себе Симпэй, мысленно читая отходную сутру. Он посмотрел на Кату. Бледна, глаза расширены.

Слегка покачал головой. Да, люди убивают друг друга, разве ты не знала? Мир страшен. Не бояться страшного — этому тебе еще предстоит научиться.

Стонов больше не слышалось. На дороге что-то трещало, грохотало. Потом раздался ликующий вопль и радостный гогот.

— Есть? Нашли? — звонко крикнула Пава.

На поляну вернулся Кистень.

— Ай, умница! Ай, Павушка! — приговаривал он. — Во всем права! Ладно присоветовала не нападать, когда они с мехами ехали. Куды бы мы два воза пушнины дели? А ныне вона!

Он показал назад. Мохнач с Косоглазом, пыхтя, тащили за ручки тяжелый сундук.

Косоглаз возбужденно крикнул:

— Федь, как он тебя, жирный-то: «Христом Боженькой!», а ты его хрясь в лоб — и zenки вылетели!

— Сенька где? — спросила Пава, идя им навстречу.

— Чернец его недобитый тесаком достал, — махнул рукой атаман. — Да черт с ним.

— Пойду погляжу, чисто ль дело сделали.

Кицунэ скрылась за кустами, а разбойники столпились у сундука, зазвенели серебром.

— Ух ты! Сколь здесь? Тыщи! И кони ладные, продать можно! — наперебой говорили они. — И в возах добра много. В Архангельске для монастыря накупили.

— То-то, ребята. Говорил я вам: «Кистеня держитесь, богачами будете»?

Атаман шлепнул одного по спине, другого по плечу — чуть не сшиб с ног. От дороги шла Кицунэ, звенела небольшой кожаной сумой.

— Дураки вы, а не богачи! У казначея под скамейкой киса с червонцами. Проглядели? Вот где настоящее богатство!

Ликование сделалось еще шумней.

Женщина говорила:

— Незачем нам с лошадьми да возами колупаться. Попадемся на ворованном, сторим из-за мелочи. Нам серебра-золота хватит.

Никто не заспорил. Мохнач спросил:

— Когда дуванить будем?

— Сначала с этими окончим. — Пава показала на пленников. — Послушаем, что скажут.

— Да чего их слушать? — Федул не мог оторвать глаз от кисы. — Косоглаз, тюкни их топором, и делить будем. Уговор помните? Вам всем по одной доле, мне две, Сеньке теперь не надобно... Павушка, сколько это долей выходит?

— Стой ты! — приказала женщина косоглазому разбойнику, уже вынимавшему из-за пояса свой окровавленный топор. — Нельзя их тукнуть, не допросивши. Думай сам, Федул. Надо вызнать, куда шпыни посланы, кого и по каким приметам ищут. Какими дорогами уходить, каких сторониться. А то попадемся при таких деньгах — срам будет.

— Твоя правда, — нехотя согласился Кистень. — Сейчас всё с татарина вытрясу. Кочетом закукарекает. Косоглаз, развязывай. Рты им ослобони. Да держи парня, чтоб не сбёг.

Пленников отвязали от дерева, вынули кляпы. Пава как ни в чем не бывало разгладила свой плат, помятый Катинными зубами. Повязала на голову.

— Татарину сызнава руки свяжи, — посоветовала она.

Атаман хмыкнул.

— На кой? Что мне эта мышь плюгавая сделает?

— Когда мыши деваться некуда, она, бывает, и на кота бросается.

Симпэю снова стянули запястья, спереди. Он не сопротивлялся, потому что для Хранителей существует лишь одно исключение из «Канона Ненасилия», и угроза для самого себя в эту категорию не подпадает.

— Легко и быстро помереть хочешь? — спросил главный злодей, скалясь. Он был с Симпэем в один рост, по русским меркам совсем короткий.

Хранитель покачал головой. Умирать он не хотел ни легко, ни трудно, пока не исполнена миссия и Курумibuцу не вернулся на свое место.

— На этого попусту время стратишь, — сказала Кичунэ. — Я таких молчаливых видала. Сдохнет, а рта не раскроет. Дай-ка я лучше с малым потолкую. Этот всё

скажет. Мохнач, возьми-ка мальчонку с другой стороны. Да глядите — чтоб не вырвался.

Кату крепко держали в четыре руки. Она кинула дикий взгляд на Симпэя, но тот отвернулся, чтоб не мешать. Давай-ка сама. Это твой мир, не мой.

Плохая женщина, которая в следующей жизни вернется в мир сколопендрой или ползающей на брюхе змеей, сначала как следует попугала. Это она умела.

Погладила Кату по лицу, ласково приговаривая:

— Не бойсь, сахарный... Не бойсь, сладкий... Павушка на тебе, как на дудочке, сыграет... Ты пой верно, не криви, и ладно выйдет. А не станешь петь иль, упаси ты Христос, не ту песню соврешь, ой худо будет.

И как кошка, вдруг выпустившая когти из пушистой лапы, процарапала по щеке четыре кровавые борозды.

Симпэй внимательно наблюдал.

Ученица скривилась только в первый миг, но не вскрикнула и, что важно, не отвела глаз — смотрела мучительнице прямо в лицо. Это хорошо.

Ну-ка, что дальше?

Кицунэ повела себя так, как и положено оборотню. Отпор и непугливость эту нечисть разъяряют.

Разорвала на девочке рубаху. (Грудь, слава Будде, была совсем плоская, мальчишья. Разбойники ею не заинтересовались.) Вытащив нож, разбойница просвистела:

— Сейчас я тебя приголублю. Всё скажешь.

И воткнула кончик под тонкую ключицу. На полсуна левее — и попала бы в нервный узел. От такой боли и Симпэй бы вскрикнул. Но, опять-таки слава Будде, местных душегубцев анатомии не обучают. Ката-тян поморщилась, но не издала ни звука, лишь зашевелила губами.

Правильно, девочка. Разговаривай с болью, разговаривай.

Нож медленно двинулся вниз, в сторону, опять вниз, прочертив по коже багровый, сразу засочившийся зигзаг.

Губы шевелились, но ни одного стоны не раздалось.

— Упрямишься? — Кицунэ улыбнулась. — Это хорошо, это я люблю. Поиграемся. Сейчас я тебе шкурку от шеи до паха взрежу и стану кожу на стороны сымать. Как кожуру со свеклы. Тихонечко, без спеха.

Она подняла руку, приставила острие к горлу, повела вниз. Нож прокровянил короткую линию, перерезал нитку, на которой висел Будда.

Орех упал на траву, и тут Ката-тян вскрикнула. Не от боли, отметил Симпэй. От тревоги за реликвию. Это допускается. Но кричать все же не следовало. Хитрая Кицунэ сразу что-то почуяла.

Подняла орех, рассмотрела.

— Не троны! — забилась в разбойничьих руках девочка. Опять — зря.

— Дай-ка твой кистень, Феденька, — сказала Пава, улыбаясь. — Не знаю, что за драгоценность этот кругляш, но сейчас парень у меня без ножа запоеет.

Положила Будду на камень, занесла палицу.

— Не хочешь, чтоб я расколотила твой оберег или что это — говори всю правду. Что вы за люди, кем посланы, что вам велено.

— Дедушка! — в страхе завопила ученица. — Что делать?

Симпэй даже засмеялся от удовольствия. Прямая и несомненная угроза для святыни — это и есть исключение из «Канона». Хранителю разрешается и даже



предписывается в этом случае использовать силу — конечно, не нарушая «Канона о неубиении живых существ».

В полном своем праве Симпэй прыгнул вперед и ударил злую женщину сдвоенными руками в висок. Она упала ничком.

Следующим движением, мысленно прося прощения за такую бесцеремонность, монах подобрал Будду и надежно спрятал в кулак.

Атаман заревел, выхватил из ножен короткую широкую саблю. Мощный удар снес бы Симпэю голову с



плеч — конечно, если бы тот остался на месте. Но он присел, дождался, пока силач от своего могучего замаха развернется вокруг собственной оси, и тогда стукнул по бычьему загривку в точку на шейных позвонках, где тело повинуетея духу. Дух Федьки на время погрузился в пустоту, а тело повалилось наземь. Им было полезно отдохнуть друг от друга.

На двух остальных разбойников, только и успевших, что разинуть рты, ушло еще три или четыре мгновения. Симпэй подскочил, одновременно нанес удары обеими ногами в головы: Косоглазу послабее, кряжи-

стому Мохначу посильнее. Мягко приземлился еще прежде, чем оба упали.

Ката-тян хлопала глазами. Всё произошло слишком быстро — не досчитать и до пяти.

— Ааа, — неуверенно протянула она. И громче: — Аааа!

Потом совсем громко:

— Дедушка! Ты их всех положил! Ух ты! Вот это да!

От радости и облегчения она прыгала, махала руками. Симпэй же был хмур. Его терзали сомнения.

Что ударил Кицунэ — это ладно, с этим всё законно. Но имел ли он право бить остальных? Ведь прямой и несомненной опасности для Будды от них не было?

Вопрос был трудный.

Ответил Симпэй на него так: Курумибуцу находился у меня в руке, то есть, по сути дела, я стал его оболочкой, а коли так — угрожавший мне угрожал и Будде.

Конечно, тут не без казуистики, но есть и чем оправдаться.

С другой стороны, если быть с собой честным...

Девочка сбила с неприятной мысли — вгрызлась зубами в веревку на его запястьях.

— А чего ты их раньше не раскидал, коли такой ловкий? — спросила она, сняв путы.

Симпэй объяснил ей про исключение и прибавил:

— Прежде чем ты станешь Хранительницей, ты тоже научишься защищать Будду, когда это дозволяется. Но это будет лишь в третьем Жилье, когда твой дух совсем окрепнет. Сила тела не должна быть больше силы духа, иначе это очень опасно и для путника, и для встречающих.

— Я научусь всему! — горячо сказала Ката. — Я хочу стать такою же, как ты!

— Если хочешь — станешь. Лучше, чем я. Потому что ты от природы храбра и великодушна. Я же стал таким, каков я есть, не по своей природе, а по долгой привычке, основанной на соблюдении твердых правил. Подростком я был труслив и малодушен.

Она рассмеялась:

— Так я тебе и поверила.

— Когда-нибудь я расскажу тебе о своем Учителе, который помог мне стать мною. Но сейчас хочу спросить тебя о другом. Я видел, как ты разговаривала с болью. Получилось?

— Неа, — вздохнула девочка. — Просто от страха я вся будто заледенела. Вот сейчас начинает здорово саднить.

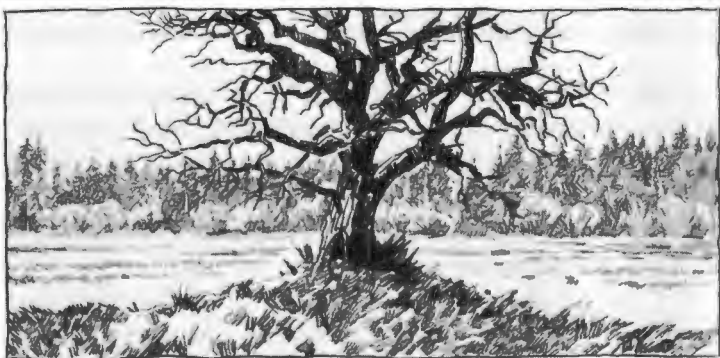
И потеряла порезы, продолжавшие кровоточить.

— Это очень хорошо. Страх тебя уже не сковывает. Поговори с болью, поговори...

Он оглядел поляну, на которой лежали четыре неподвижных тела. Раньше вечера дух в них не вернется.

— ...А когда договоришься, мы перейдем к освоению четвертой ступени. Она касается полезных и вредных страхов.





СТУПЕНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

■ Люди

Шли лесом, шли полем. Лес был черный, поле белое — из-за инея. К рассвету похолодало. Лето поманило-поманило, да обмануло, на севере такое бывает часто.

Одежда задубела, стала навроде ледяной корки, но зябко Кате не было. Холод был ей друг, с ним боль заговаривалась легче.

Да и речи, которые вел учитель, требовали от ученицы полного внимания. Он говорил про трудное.

— Люди любят говорить: это хорошее, а вот это плохое, но истина в том, что не бывает вещей и явлений, которые всегда хороши или всегда плохи. Подумай про это. Когда скажешь, что поняла — продолжим.

Ката легко постукивала по жесткой земле деревянными копытами, земля сама подбрасывала и отталкивала ее тело, дорога неслась навстречу, но еще быстрее летела мысль.

Что самое хорошее на свете, думала Ката.

Доброта? Но разве хорошо быть добрым с гадиной Павушкой или с Федькой Кистенем? То-то им при-вольно будет убивать да грабить.

Красота Божьего мира? Но ей ведь на всё напле-вать, красоте. Что есть я, что я сдохла — Божий мир дождиком не поплачет, тучкой не омрачится.

Любовь? Ну, это хорошо только для двоих, и никто больше им не надобен.

А что самое плохое?

Жестокость? Но разве не жестоко сыпанул дед мне соль на больное место? Однако ведь это было для моей же науки.

Боль? Это я раньше ее сильно боялась, теперь не очень.

Смерть? Уж ли! Авенир — и тот с утра до вече-ра глаголал, какое это счастье и облегчение. А по-ледушкиному, смерть плоха только для того, кто скверно жил, потому что в следующем рождении та-кой попадает в худое место. Для человека же, кто про-шел свой Путь честно, смерть — награда и дверь в выс-ший мир...

— Я поняла про это, Учитель. Говори дальше.

— ...То же относится и к страху. Другие «ручьи» буддийской веры придают страху слишком большое значение, видя в нем корень всех страданий. Наш же закон учит, что есть страхи благие, которые должно ле-лять и развивать. Таков страх глупой, зряшной смер-ти, которой можно и нужно избежать, чтоб не свалить-ся с Пути в яму, споткнувшись о бессмысленный каме-шек на дороге. Когда ты дойдешь до второго Жилья, я научу тебя шестому чувству — чувству опасности. Для него у человека на коже есть маленькие белые волосы,

они обучатся вставать дыбом и предупреждать тебя об угрозе.

Ката потрогала пушок на руке.

— Лучше шею трогай. Сзади, ниже волос. Самое важное место... Но есть страх того более ценный, без которого тебе не прожить жизни сполна. Это страх сбиться с Пути. Он всегда поможет тебе, если ты заблудилась. Заставит найти дорогу. А еще есть страх потерять душевный мир. Нет ничего хуже, чем если внутри тебя поселился раздор, и одна половина твоей души станет презирать или ненавидеть другую. Бойся этого больше всего на свете, никогда не совершай поступков, которые заведут тебя в подобный ад. Лелей этот страх как великую драгоценность, и он тебя спасет... Подумай про это и скажи, когда будешь готова.

— Да вроде понятно, — сказала Ката. — Кто не боится в лесу заблудиться — сгинет. А про душевный покой оно и у Марка-апостола сказано: «Кая бо польза человеку, аще приобрящет мир весь, но отщетит душу свою?»

— Что ж, можно сказать и так. Но у христиан главный из полезных страхов — страх перед Богом, а у нас — перед собою. Потому что последователь Мансэя считает хозяином своей жизни самого себя, а не высшую силу. Но распоряжаться собственной жизнью человеку мешают страхи мелкие, стыдные и вредные. От них ты должна избавиться. И тут есть несколько твердых правил...

Ката повернула к нему голову, чтоб не пропустить ни единого словечка, из-за этого не заметила рытвину, спотыкнулась и растянулась во весь рост, да так важно, что проехала по земле носом. Села, вытерла рукавом красную юшку, немножко поругалась с болью: отстань-

де, дура, не до тебя! Оказалось, что от ругани боль сжимается не хуже, чем от уговоров. Этим открытием, способным обогатить учение третьей ступени, Ката немедленно поделилась с Учителем. Тот похвалил, сказавши: «Твоя боль принадлежит только тебе. Это твоя собака. Если ты видишь, что плетку она понимает лучше ласки, — что ж, лупи».

И продолжил:

— Правило первое. Никогда не пугай себя тем, что еще не случилось, а лишь может случиться, ибо воображаемые ужасы отравляют кровь и ослабляют душу. Случится беда — воюй с ней или учись у нее, а заранее бояться ее нечего.

Ученица кивнула:

— Это и у нас говорят: неча умирать раньше смерти.

— Кстати, вот тебе правило второе. Умирать не бойся.

— Легко сказать! Кто ж этого не боится? Авенир говорит: «Страшна не смерть, страшно умиранье».

— Твой Авенир глупец. Чтоб я больше про него не слышал, — строго молвил дед Симпэй. — Умирать не боится всякий, кто преодолел нынешнюю, Четвертую Ступень. Это легко. Сейчас увидишь. Остановись-ка. Повернись ко мне.

Он взял Катку двумя руками за шею, сжал пальцы, и всё вокруг стало черным, чернота эта закрутилась — быстрее, быстрее, быстрее, утянула в воронку, подбросила вверх и понесла, понесла неведомо куда, так что захватило дух, а потом и духа не стало. Ката больше не дышала, но ей это было и не нужно. Наверху вспыхнула белая точка. Из нее полился свет — сначала тусклый, потом всё ярче, все ослепительней. Это была не точка, а труба, в которую Ката и влетела, стремясь выше, выше, к источнику удивительного света. Ей хотелось

лишь одного — поскорее увидеть, что это там столь ослепительно сияет.

Но какая-то грубая сила ухватила ее за ноги и потянула книзу. Ката даже закричала от негодования, видя, что свет меркнет и удаляется. От крика вернулось дыхание. Затем истончилась и чернота.

Ката лежала на спине, хлопала глазами. Над ней склонился улыбающийся Симпэй.

— Вот тебе и всё умирание, — засмеялся он. — При том худшая его часть. И чего тут бояться?

— Нечего... — медленно ответила она, садясь. — Я бы прямо сейчас померла.

— Ну и глупо. Вернешься обратно, откуда сбежала — такой же несмысленной, слепой девчонкой. Пройди честно свой Путь — и умирай себе на здоровье.

— Хорошо, — сказала Ката, медленно оглядывая поле, небо, весь серый утренний мир. Она видела всё это словно по-другому. Как гостя, которая сегодня в этом доме, а завтра пойдет дальше — ин и ладно.

— Снимай копыта. Уже светло, пойдем обычным ходом. И продолжим ученье.

* * *

— ...Со всеми остальными страхами (а их у тебя, наверно, много) мы поступим того проще. Знаешь, как защититься, если на тебя напала стая собак?

Ката удивилась:

— А разве нам можно защищаться? Мы же буддийцы, у нас ведь этот, как его, канон? Поди, собаку и палкой не треснешь? Она же на Орехового Будду не нападает, значит, «исключение» не годится. Так?

— Да, «Канон ненасилия» не разрешает бить живые существа, даже если они на тебя нападают. Но собак и не надо бить. Довольно определить, который меж них вожак, и посмотреть ему в глаза. Животные твари понятливее людей. Если песий начальник увидит, что ты его не боишься, но и ничем ему не угрожаешь — перестанет на тебя кидаться. И остальные собаки тоже оставят тебя в покое. Так же поступи и со своими страхами. Выбери главнейший, посмотри ему в глаза, одержи над ним победу — и менее сильные страхи отпрянут сами... Погоди морщить лоб. Тебе еще рано над этим задумываться. Сначала послушай одну историю. Помнишь, я обещал тебе рассказать про моего Учителя? Он был очень старый, насытившийся Полной Жизнью. Говорил: «Ты мой последний ученик. Помогу тебе подняться по первым ступеням Лестницы и уйду». Его звали Сандзи.

Дедушка надолго замолчал, верно, вспоминая прошлое. Ката терпеливо ждала. Идти по-обычному было скучновато и очень медленно, будто на карачках ползешь. Но изредка на дороге попадались путники или телеги, шибко не разбегаешься. Дорога вела на юг, в сторону Каргополя. Верст сто до него, не меньше.

— ...Под присмотром Сандзи я одолел три первые ступени — не так быстро, как ты, но и без особенной задержки. Однако на четвертой я надолго застрял. Почти у каждого человека от природы есть какой-то сугубый страх, который сильнее разума и воли. Был такой и у меня. Я с детства, сколько себя помню, ужасно страшился тесноты. Голландцы, среди которых я рос, очень любили крохотные комнатки с низкими потолками, а на ночь ложились в деревянные коробки с



занавесками. Для меня это была пытка. Ночью я выбирался наружу и спал на полу, только бы не лежать в темном ящике. Он казался мне похожим на гроб, закрытый глубоко в земле... Как со мной Сандзи ни бился, никак у него не выходило освободить меня от этого страха. Учитель построил решетчатый сундук, сплетенный из веток, с большими зазорами. Сажал меня внутрь, спрашивал: «Страшно?». Я говорил: нет, потому что видел свет. Тогда Сандзи начинал оплетать сундук новыми прутьями — и скоро я уже вопил в голос, бился головой, колотил руками... Страх был сильнее меня. Учитель вздыхал, открывал крышку, выпускал меня наружу.

Симпэй покачал головой, словно удивляясь — то ли своей прежней глупости, то ли терпению Учителя.

— Однажды меня разбудили на рассвете. Говорят: «Сандзи ушел». У нас это значит, что старый монах устал жить и попрощался с миром. Уходят все по-разному, на свой вкус. Но тихо и без крови — это обязательно. И еще — вдали от всех, чтобы не смущать видом своей смерти тех, кто остается жить... Я не опечалился, я знал, что Сандзи давно этого хотел. Но мне стало горько и обидно, что он со мной не попрощался. Значит, разочаровался? Счел безнадежным? Или же, еще хуже, был ко мне безразличен? Я заплакал, а мне сказали: «Иди к Учителю. Он велел привести тебя на могилу». И я узнал, что Сандзи выбрал «уход с колокольчиком». Это когда монаха живым закапывают в тесный склеп, но оставляют отверстие в земле, чтобы проходил воздух. Уходящий лежит там, в темноте и тишине, время от времени позвякивая в колокольчик. Когда звон совсем стихает, это значит, что жизнь закончилась...

Дедушка посмотрел в сторону, на поросший желтыми одуванчиками бугор.

— Я сидел на могиле Учителя и слушал, как он звонит в свой колокольчик. Звон был предназначен мне, он означал: «Видишь, ничего страшного в этом нет. Мне хорошо, я в покое». В первый день колокольчик звонил часто. Во второй редко. На третий стих. Все это время я не поднимался с могилы, не пил, не ел и не спал. Я прощался с Учителем. И к тому времени, когда он перестал со мной разговаривать и ушел, ушел и мой главный страх. А вслед за ним все остальные. С тех пор я боялся только того, чего нужно бояться. Вот каков был мой Учитель.

— Он сделал тебя — тобой, да? — спросила Ката, вытирая слезы.

— Ты ничего не поняла, — рассердился Симпэй. — Нет! Он сделал другого — мной. Тот никчемный, трусливый мальчишка — это не я. И ты зря думаешь, что обучаться Четвертой Ступени — это слушать поучительные истории. Так страх не победишь. Ну-ка отвечай мне по всей правде: чего ты боишься больше всего на свете?

Она уже успела про это подумать — ждала такого вопроса.

— Высоты. Никогда не могла на дерево залезть. Иль на крышу. К обрыву на реке подойти. Погляжу вниз — мамочки, жуть! Помнишь, как Авенир в башне за мужиками пошел, а меня одну оставил? Я думала: пропадаю, к окошку кинулась — больше-то некуда! Но посмотрела — затряслась. И когда в тебя вцепилась, всё зажмурившись была.

— А я думал, ты меня так крепко обнимаешь от благодарности и любви, — вздохнул Симпэй.

— Я тебя тогда еще не полюбила, — честно сказала Ката. — Я в ужасе была.

Дедушка выглядел довольным.

— Очень хорошо. Значит, будем побеждать страх высоты. Скажи, кто не боится высоты?

— Не знаю... Птицы.

— Правильно. Тот, кто умеет летать и не падать. Где бы нам полетать-то?..

Он заоборачивался по сторонам. Ката хлопала глазами — шутки что ли шутит?

— Обрыв на реке, говоришь... — бормотал Учитель. — Это нам подошло бы, только где его взять? Эх, на Пинеге надо было, там обрывы хороши. Ладно, поищем. Чего-чего, а воды тут вокруг много...

...И дальше они пошли чудно. Чуть где виднелась вода — река ли, озеро ли, — Симпэй сворачивал с дороги. Если был обрывистый берег, рассматривал его, иногда спускался вниз и проверял, глубоко иль нет. Но всё ему было не так. Ворчал, что либо обрыв не такой, либо под ним мелко. Возвращались на дорогу, шли дальше.

Назавтра — то же самое.

Он и встречных спрашивал: нет ли где вблизи обрыва, и чтоб под ним омут? Люди удивлялись: на что тебе? «Покреститься хочу из своей татарской веры в русскую, — объяснял им Симпэй. — А магометанская вера цепучая, надо с обрыва в воду сигать». После такого объяснения все охотно советовали, и Учитель с ученицей шли, куда сказано, но на деда было не угодить. То ему невысоко, то неглубоко.

У одного мужика, везшего на базар продавать всякую льнину, Симпэй зачем-то купил два мешка и веревок.

Ката на всё это смотрела, предчувствуя нехорошее, но вопросы задавать скоро перестала — дед на них не отвечал.

На третий день посреди огромного-преогромного поля встретили пастуха с козами.

— Эх ты порато котышкат-то, татарин, — удивился мужик небылице про крещение. — На кстины покличешь?

Ката выросла среди московских и говорила тоже по-московски, но северный говор знала. Перевела дедушке:

— Ишь, говорит, как тебя, татарин, расщекотало-то. На крестины позовешь?

— Позову, позову. Есть тут хороший обрыв или нет?

— А вона, по-за островом, — показал мужик на темневшую вдаль кромку леса. — Там Плесцы-озеро, на ём плесо, речка втекат. Береня высоки, под имя глыбоко.

— «Остров» — это лес, за ним озеро Плесцы, в него впадает речка. Берега высокие, под ними глубоко.

— Ну пойдем, посмотрим, что за Плесцы такие, — сказал Симпэй, поблагодарив пастуха.

Ладно, пошли к «острову».

Лес вывел к небольшому озеру, в которое действительно впадала речка. Берег Симпэю понравился, он был плавно-обрывист, то есть обрыв поднимался постепенно: сначала в пару аршин, потом в сажень, дальше — выше.

Дед полез в воду — довольно крикнул. Прямо под отвесом озеро было глубокое, не достать дна.

— Здесь и полетаем, — объявил.

* * *

— Не страшно вниз смотреть? — спросил он, подведя Катю к кромке в самом низком месте.

— Смеешься? — удивилась ученица. — Тут высота меньше моего роста.

— Прыгай. Холодной воды ведь ты не боишься?

Она прыгнула, ушла с головой, вынырнула.

Уф, студено!

— Вылезай, — велел сверху Учитель. — Вот там ухватись за корягу и карабкайся.

Она снова поднялась к нему, по-собачьи встряхиваясь.

Симпэй взял ее за руку, отвел на несколько шагов, где берег поднимался чуть выше.

— Гляди вниз. Страшно?

Ката посмотрела — поежилась. Высота была с сажень.

— Ладно. Спустись немножко. А откуда?

— Вроде ничего...

— Прыгай.

Опять вылезла.

— Встань на шажок повыше... Не боишься? Прыгай. Я пойду, поищу хороших жердей, а ты давай сама. Прыгай каждый раз на один шаг выше. И так до самого высокого места.

Он показал туда, где берег вздымался круче всего, сажени на три. Ката зажмурилась и не стала больше в ту сторону смотреть. Там, где она стояла сейчас, коли сравнивать, было нисколечко и нестрашно.

Так оно дальше и пошло.

Вынырнула, подплыла к месту, где из земли торчит коряга, вылезла, вскарабкалась, встала чуть выше — прыгнула.

И снова, и снова. Раз тридцать так сделала, а потом вдруг спохватилась — обрыв опять книзу пошел. Оказывается, самое высокое место она уже миновала, а испугаться забыла.

Дедушка сидел в сторонке. Сначала что-то мастерил из деревяшек, потом просто смотрел.

— Ну как? — спросил.

— Нестрашно. А только какая тут высота? У Аве-пира из башни и то выше.

— Это только начало. Скоро ты у меня птицей полетишь. Это вот крылья.

Он поднял с земли деревянную раму, на которую с двух сторон были натянуты льняные мешки.

— Называется *хитоваси*, человек-орел. Продеваешь руки в лямки, разбегаешься, прыгаешь — и летишь.

Ката не поверила:

— Неужто? Просто разбежаться — и полетишь?

— Просто разбежаться — свалишься. Скорости мало. Надо разбежаться так, как одними только ногами не получится. Не хватит и копыт. Помнишь, я говорил тебе про искусство *хаябасири* — бега на ходулях? Смотри.

Он поднял с земли две толстые жердины — не сказать чтоб длинные, аршина в полтора каждая, с приступкой посередине. Прикрутил их к ногам, легко поднялся, сделавшись на две головы выше Каты.

— Поддай-ка крылья.

Просунул руки в петли. Распрямился.

Как чучело на огороде, подумала она и хихикнула.

А дедушка вдруг как-то очень легко взял с места, понесся здоровенными скачками всё быстрее, быстрее — да прямо к обрыву, да оттолкнулся, да как взлетит! По воздуху, по-над озером, по-журавлиному! Ничего вроде и не делал, лишь легонько поводил своими мешковинными крылами вправо-влево — и парил, парил!

Ката завизжала от восторга, запрыгала на траве.

Чудо! Чудо!

Симпэй же вытянулся будто бы ничком, лежа животом на пустоте. Чуть скосил раму, сделал широкий полукруг над водой, соскользнул обратно к берегу — туда, где тот был ниже, коснулся ходулями земли, пробежал с полсотни шагов. Остановился.

Ученица неслась к нему вприпрыжку, со всех ног.

— Я тоже хочу полетать! Дай попробовать!

— Сразу не выйдет, — сказал ей дед, снимая крылья, а затем отвязывая ходули. — Мы проживем здесь, близ сего Плесецкого озера, сколько понадобится. Прежде чем научиться летать, нужно научиться падать. С этого и начнем. Вон хорошее дерево. Пойдем туда.

Повел ее к старому кривому клену, нижние ветви которого были в сажени от земли.

— Лезь. Подсажу.

Раньше Ката и на столь малую высоту карабкаться побоялась бы, а сейчас нисколько.

Дедушка смотрел снизу, задрав голову.

— Подымись выше... Еще выше. Теперь прыгай.

Она заколебалась. Глядеть вниз было уже нестрашно, но прыгнуть?

— Расшибусь...

— Расшибаются те, кто бьет собой землю. Она на это обижается, бьет ответно. А ты не бей собою землю, ты гладь. Тогда она тебя тоже не ударит. Стань кошкой, упругой и гибкой. Прыгнула — и покатилась.

— Ой, — сказала Ката. Зажмурилась и прыгнула.

Дедушка подхватил ее, упали вместе.

— Кошка глаз не закрывает. Лезь обратно. Падай на четыре лапы и катись.

Во второй раз Ката приземлилась уже сама, отшибла себе все «лапы», немножко поругалась с болью. Была снова отправлена на дерево.

— Дальше давай одна. Скучно смотреть, — зевнул Симпэй. — На тебе ножик. После каждого прыжка царапай на коре черту. Вернусь — посчитаю.

Вернулся он только в сумерках. Ката, обессиленная, сидела, привалившись спиной к стволу, чтоб не

видеть опостылевшего клена. Саднили намятые коленки и ободранные ладони.

Учитель посчитал царапины. Их было больше сотни.

— Покажи.

Она кошкой вскарабкалась, кошкой упала, покошачьи же фыркнула — злилась на деда, что так долго не приходил.

— Ладно. Падать ты умеешь. Завтра поучимся бегать. А ныне пора спать. Я нашел для нас гожий дом.

Домом был старый мертвый дуб, стоявший на малом холме посреди голого поля. Когда-то давно, много лет назад, дерево убило молнией. Сверху оно было черно-обугленное, внутри полое.

— Здесь живет барсук, — сказал Симпэй, — но я попросил его пустить нас пожить. Запах не очень приятный, зато кров над головой. И мягко — я нарвал травы.

Ката так устала, что на запах ей было плевать. Она упала и сразу уснула.

* * *

— Вставай, — растолкал ее дед на рассвете. — Я сделал тебе ходули. Еды не получишь, пока не пробежишь на них сто шагов.

Ката встала на жерди, покачалась на них — и грохнулась. Если б вчера не научилась падать, сломала бы себе хребтину, а так только охнула.

— Постой на одной, — велел учитель. — На одной! Второй не опирайся!

Она покачалась-покачалась, сызнова бухнулась.

Симпэй уселся завтракать, а Ката пыхтела — обвыкалась стоять на левой ноге, потом на правой. Очень тянуло живот — со вчерашнего утра ни крошки не ела, но это были пустяки.

К полудню деревяшки стали как продолжение собственных ног. На них можно было уже ходить.

Еду — несколько сухарей, морковину, пару каких-то противных, но полезных для *хары* (леший знает, что это такое) корешков — она заслужила только к закату. Но зато вечером, уже под звездами, первый раз пробежалась по полю — быстро, со свистом ветра в ушах.

— Завтра полетишь, — пообещал Симпэй.

И они залегли в дупло. Ката опять спала бревном — так умаялась.

На третий день с утра она училась бегать на ходулях с крыльями. Сначала — просто держать ровно, не перекашивать. Потом чуть-чуть приподнимать спереди, чтоб мешковину подпирал воздух.

— Длиннее прыгай, длиннее! — покрикивал дед, несшийся рядом.

Приподнятые крылья помогали удлинять скачки. Ката ухала, ей нравилось.

Но первый разбег к обрыву кончился плохо. Она оттолкнулась ногой от края, на хорошей скорости, но крыльев ровно не удержала и с великим плеском сверзлась в воду.

Плохо, что мешковина намокла. Пришлось потом час сушить на костре.

Так же стыдно завершилась и вторая попытка, и третья, и четвертая. На пятый раз Ката тоже чуть не



упала, но удержала-таки крылья, выровнялась и понеслась над озером, совсем низко. Улетела недалеко, задела воду ногами, окунулась, но это была победа.

Потом, на берегу, от нетерпения не сидела у костра, а стояла, все время щупая лён — не просох ли уже.

— Аааа! Лечуууу! — неся над озером Катин крик малое время спустя.

Она то опускалась к самой воде, то поднималась ввысь, откуда дедушка казался не боле мыши.

Вон оно каково — птицей летать! Легко, воздушно, свободно!

В конце концов рухнула-таки в воду, но это уже было неважно.

Учитель сказал:

— Хватит. Высоты перестала бояться, и ладно. А развлекаться без смысла — это не по-монашески. Сушишься — и спать. Завтра продолжим путь. Будет пятая ступень. Она легкая и тоже тебе понравится.

Ночью Ката улеглась так, чтоб из дупла было видно небо. Нынче оно всё разбрызгалось звездами. Раньше, бывало, глядела на них, и замирало сердце от той холодной, недостижимой высоты, с которой они взирают на землю, а сейчас сказала себе: подумаешь — высота. Ежели можно взлететь над озером, так, верно, и к звездам тоже?

Смотрел в небо и Учитель, но, как скоро выяснилось, думал совсем про другое.

— Чем старше становлюсь, тем меньше во мне любопытства к жизни и тем больше любопытства к смерти. Когда-нибудь, если мой Путь окажется гладким, первое любопытство совсем вытеснится вторым, и я с охотой уйду. Но куда? Кем или чем станешь, когда завершишь круг перерождений? Что такое — слиться с Буддой? Может быть, праведник, чья душа вырвалась на волю, превращается в звезду? Не души ли былых праведников сияют нам сверху? Не оттого ли людям так отрадno смотреть на звезды?

Ката подумала про это и спросила:

— А вдруг помрешь, а там ничего нет, одна пустота?

— Что бояться пустоты тому, кто поклоняется пустому Будде? — ответил вопросом на вопрос Учитель.

И Ката стала думать про пустоту, но ничего путного не надумала, а уснула.

Ей приснилось, что дуб, в котором она лежит, мелко задрожал, потом затрясся сильнее и вдруг оторвался от земли. Это было нисколючки не страшно, а, наоборот, восхитительно.

Поглядела вниз — увидела быстро уменьшающееся серебряное зеркало Плесецкого озера, меховую шкуру леса, серое полотно поля.

Подняла глаза — навстречу неслись, увеличиваясь и ярко блестя, звезды.

Снова глянула назад — как там земля? Но ни озера, ни леса, ни поля уже не было. Вместо них сиял огромный голубой шар. В кабинете у князя Василия Васильевича стоял Земной Глоб — точь-в-точь такой же. Ката засмеялась во сне от удовольствия.





СТУПЕНЬ ПЯТАЯ

Каргополь

После трехдневного сидения на озере, где девочка одолела свой худший страх, а заодно научилась искусству хаябасири, движение по Пути ускорилося. Путники теперь спали мало, часа по два, днем, а в темноте, с заката до рассвета, неслись на ходулях, успевая пробежать за короткую майскую ночь два десятка ри. В светлое же время не торопились. Неспешно шли по дороге, беседуя, а то лежали в траве. Симпэй попросил ученицу почитать ему книгу, написанную крошечными буквами.

Покойного князя занимали вещи, не казавшиеся монаху важными: как строить государство, как им править, какие устанавливать законы, как ладить с сопредельными странами. Но не имеет значения, чему посвящает свою жизнь человек и что именно он считает своим Путем. Тропинок, ведущих к Будде, бесчисленное множество. Иногда со стороны кажется, что кто-то занимается сущей ерундой — например, пускает цветы из разноцветного дыма или пишет на бумаге придуман-

ные истории про придуманных людей, но если это делается с полной самоотдачей и истинным стремлением к совершенству, то и это — Путь, в конце которого ожидает Будда.

— «...Открылась мне простая истина, какую, однако ж, не постигли и не свершили величайшие из земных государей, коих всемерно восславляет гиштория, — читала Ката-тян своим ясным, звонким голосом. — Цель государствоустройства не в том, чтоб державу трепетали соседи, а чтобы процветали граждане, ибо душа, не придавленная к земле нуждою и униженностью, склонна смотреть ввысь, расти и сама становиться выше, а разве не в том главнейший долг государя перед Богом, чтобы делать своих подданных лучше и их жизнь достойнее?»

— Я вижу, твой господин ехал по Пути на Великой Телеге, — одобрительно молвил Симпэй. — Это очень трудный Путь.

— На какой еще телеге? — удивилась девочка. — Не ездил он на телегах. У него коляска была, лаковая, с предивной резьбой.

— Всякий верующий в истину Будды выбирает, на какой Телеге он поедет по Пути — на Малой или на Великой. Наша школа Мансэй-ха — для тех, кто довольствуется малым: совершенствует самого себя. Мы ведь верим, что лишь ты сам — несомненная действительность, а прочие люди вполне могут оказаться химерой. Путь же Большой Телеги ненадежен и зыбок, но и более почтенен. Им следуют те, кто хочет спасти не только себя, но и весь мир. Они верят, что другие существуют на самом деле, и желают им блага. Это очень, очень ухабистый Путь. Из тех, кто пускается по нему, почти никто не достигает цели. Всё зло на земле от тех, кто хочет устроить мир, но не имеет в себе довольно

добра... Нужно иметь в себе очень, очень много добра, чтобы хватило поделиться со всеми.

— А разве ты не таков?

— Я? — удивился Симпэй. — Что ты! Мне еле-еле хватает на самого себя и на моих учеников. На большее я не замахваюсь... Когда мне было одиннадцать лет, голландские купцы, у которых я служил, уехали из нашего города. Я бродил по улицам, не имея крова. Надумал поступить в послушники, потому что иначе сдох бы от голода. А всякий, решивший стать монахом, сначала попадает к отцу Проницателю. Это старец, наделенный даром проницать людей. Отец Проницатель положил мне руку на темя, посмотрел в глаза и сказал: «В тебе недостаточно добра, чтобы садиться в Великую Телегу. Езжай на Малой». Дальше просто. Из «ручьев» Малой Телеги у нас в Хирадо богаче всего был Мансэй-ха. К ним я и поступил, рассудив, что буду там сыт. И опять сначала меня отвели к старому монаху, который зовется *коину-тори*. *Коину-тори* — это вообще-то человек, разбирающийся в щенках. Такого приглашают, когда ощенится сука и нужно понять, кто из помета годен в сторожевые псы, кто для присмотра за младенцами, кто для игры, а кого лучше сразу утопить. Вот и в Мансэй-ха отец *коину-тори* так перебирает новичков. Он тоже заговорил со мной о добре. Долго пытал о всяком-разном, задавал вопросы, загадывал загадки. Всё, чтоб понять — добр или зол мой внутренний стержень. Оказалось, что добр. Так я и попал в Храм.

— А злых гонят в шею, да?

— Зачем же? Злых людей на свете рождается столько же, сколько добрых, и человек не выбирает, с каким сердцем ему родиться — мягким или жестким. Будде мы все одинаково любим. К тому же добрые люди не

обязательно хороши, а злые не обязательно плохи. Ибо отприродно добрые часто слабы, а отприродно злые сильны. От слабости легко сбиться с Пути, а это и есть худшая из всех бед. Человек суровый имеет больше шансов пройти свой Путь до конца. В собачьем помете ведь больше ценятся кусачие и сердитые кутята, верно? Я не был кусачим, потому и попал в храм Мансэйдзи.

— А если бы был?

— Тогда отец *коину-тори* отправил бы меня в храм Коосиндзи. Я тебе уже говорил о «вторых», помнишь? Их ветвь называется Путь Твердого Сердца, и они тоже почитают Орехового Будду. В основе их веры речение Мансэя о возможности злого Будды. Первоучитель сказал: «Я верю, что намерения Будды добры, потому что мне так приятнее. Но столь же возможно, что Будда к людям недоброжелателен и подвергает их испытаниям не для того чтобы укрепить, а чтобы сломать. Коли так, человек должен быть тверд, ибо ему не приходится ждать от Будды ни поблажки, ни снисхождения. Главное — верить в то, что жизнь есть Путь к себе, а верить в доброго Будду или злого — выбор каждого. Если у тебя мягкое сердце — одно дело, если жесткое — другое. В любом случае ищи свой Путь, иди им, не отклоняясь, и не давай себе повода для стыда».

— Это же все равно, что чтить не Бога, а Дьявола! — ахнула девочка.

— Нет. Христианский дьявол разрушает душу, а учение «вторых» (хоть мы с ними и не любим друг друга) ее укрепляет. Просто по-другому. Это все равно как есть дневные звери и есть ночные. «Вторых» по-другому учат, и живут они не так, как мы. Насилие у них не грех, чужая жизнь не ценность, убийство не преступление. Школа Коосин-ха запрещена японским законом, но никто их не трогает, а когда нужно, государевы люди

используют «вторых» для своей надобы. У них даже есть свой храм, и много веков главное их чаяние — выкрасть у нас Орехового Будду для своего алтаря. На то и заведены Хранители, чтобы беречь нашу святыню от тех, кто считает Будду злым. Но не того мы стереглись. — Симпэй горько вздохнул. — Надо было бояться не жесткосердечных, а своего, мягкосердечного, который поскользнется на самой первой ступени — подвергнет сомнению то, в чем сомневаться нельзя...

Он подумал: слабая доброта хуже зла, ибо представляется благом, а оказывается предательством, но девочка сбила его с этой трудной мысли. Дернула за рукав и, наверное, в двадцатый раз спросила:

— Ну когда уже ты поднимешь меня на пятую ступень?

Учитель в двадцатый раз ответил:

— В свое время.

* * *

И вот день настал.

На утренней заре они взбежали на невысокий холм, откуда открылся вид на реку и прилепившийся к ней город.

— Ух ты! — закричала Ката. — Гляди сколько домов! Гляди, острог! Собор пятиглавый! И еще церкви! Это город, да? Настоящий город? Ох, велик!

Симпэй улыбнулся. Девочка никогда раньше не видела городов, для нее и Каргополь — чудо. Показать бы ей Амстердам, не говоря уж об Осаке или Эдо.

Впрочем, для русского севера Каргополь был городом немалым. Здесь сидел воевода, проходил большой

торговый шлях, по которому возили соль, рыбу, пушнину, железо. По реке Онеге плавали казенные и купеческие корабли. Город ныне числился по Санкт-Петербургской губернии, то есть был близ государева ока.

— Ходули бросим, — велел Симпэй. — Незачем, чтоб на них паялились. Сделаю другие, крепче. Куплю хорошего дерева, гвоздей.

— Мы пойдем туда? — спросила Ката, не сводя восхищенных глаз с куполов и крыш. — Там чай народу-то!

— Сначала я расскажу тебе про пятую ступень. Слушай.

Ученица сразу позабыла про Каргополь, повернулась.

— ...До сих пор я учил тебя суровости, стойкости и воздержанию. Но те, кто умеет только взнуздывать и погонять своего коня, не живут полной жизнью, а слово «мансэй», как ты помнишь, означает именно это. Люди, знающие одну аскезу, сухи, скучны и безрадостны. А конь, которого сытно кормят, везет всадника и быстрее, и веселей. Да и спотыкаться будет меньше. Верно еще и то, что аскет, умеющий лишь истязать свою плоть, перестает понимать обычных людей, а стало быть, утрачивает ясность зрения. Он как филин, который хорошо видит в темноте, но слеп при свете солнца. Ты должна принимать мелкие и приятные подарки жизни — вкусную еду, красивую, ласкающую одежду, мягкую постель — без вожделения, но с благодарностью и удовольствием. Вот этому мы с тобой в Каргополе и поучимся.

Ката-тян, слушавшая с всё большим изумлением, воскликнула:

— Дедушка, да на какие шиши? Мы нищие! Я тебе там, на поляне, говорила: «Давай возьмем серебра из разбойничьего сундука». А ты мне что ответил? «На

кой нам серебро?» Даже свои четырнадцать червонцев у Павы этой поганой назад не забрал!

— На что мне четырнадцать червонцев и тяжеленный сундук серебра? — пожал плечами Симпэй. — Пока ты жмурилась и разговаривала там со своей болью, я прихватил всю мошну с золотом.

Он достал из мешка увесистую кожаную кису и позвенел ею.

— Здесь червонцев сотни две или больше. На «полную жизнь» вполне хватит.

Глаза девочки округлились.

Они спустились на дорогу, пошли к городу. Время было раннеутреннее, предбазарное, и в том же направлении шли-ехали многие.

Потянулись дворы посада. Ката-тян вертела шеей, поражалась, сколь тесно стоят дома, да сколь их много, да сколь длинна улица.

Впереди показался земляной вал с бревенчатой башней. Симпэй с поклоном спросил у капрала, зевавшего перед поднятой рогаткой:

— Скажи, почтенный, где тут постоянный двор?

Солдат — ему было скучно — насмешливо воззрился на оборванцев.

— Чего уж таким господам на постоялом дворе маяться? Вам за реку надо, в австерию.

И заржал по-лошадиному.

— В Каргополе есть настоящая австерия? — поразился Симпэй.

Как быстро меняется Россия! Хотя что же удивляться? Из Архангельска в столицу через Каргополь ездят иностранные купцы. Знать, надоело им останав-

ливаться в курной избе с тараканами, хлебать тухлые щи, запивать плохой водкой.

Расспрашивать грубого капрала дальше смысла не было, а река Онега — вон она.

Вышли на берег, увидели поодаль понтонный мост, и на том берегу в самом деле белел настоящий европейский дом — двухэтажный, с черным переплетом фахверка, с флюгером над черепичной крышей.

— Как терем из сказки! — сказала девочка.

— Точь-в-точь как в Петербурге. Внизу там должна быть зала со столами, а наверху комнаты для проезжающих. Что ж, пойдем учиться пятой ступени.

На горбатом, нерусском крыльце сидел нерусский же человек в полосатом колпаке. Подымливал длинной трубкой, позевывал.

— Кута прьоте, рфань? — сказал он сердито. — Ниш-шим нелься. Фон!

Швед, определил Симпэй по выговору. Должно быть из давних, еще ингерманландских пленных. Многие из них, кто пооборотистей, неплохо устроились.

И перешел на шведский:

— Не суди о нас по одежде, сударь. Я сопровождаю молодого господина, он сын богатого коммерсанта. А нищими мы одеты для экономии, чтобы не тратиться на охрану. Кто тронет оборванцев? Однако деньги у нас есть.

И сверкнул зажатым в пальцах золотым.

Хозяин сразу вскочил, сдернул колпак, сверкнув плешастой головой.

— У нас есть обычные номера по десяти копеек, есть со столом и стульями — по четвертаку.

— А получше?

— Есть «Царский», держим для самых почтенных гостей. *Rublevik*.

Запрос был бешеный — чтоб поторговаться, но Симпэй не стал.

— Берем. Там же и потрапезничаем. Подавай к столу всё лучшее. Музыка есть?

— Есть скрипач, есть клавикорды. Желаете — позову русских *peselniki*.

— Чего он про песельников? — спросила Ката, с любопытством вслушиваясь в незнакомую речь.

Симпэй перевел.

— Давай скрипку и эти, клави... — попросила девочка. Симпэю понравилось, что она любопытна к новому.

— Еще одолжи нам слугу, чтобы проводил в лучшие городские лавки и потом доставил сюда купленное.

— Это вам на Гостиный двор нужно. Почту за честь и удовольствие сопроводить лично, — поклонился хозяин. Ему было любопытно — что за люди такие, которые выглядят оборванцами, но сорят деньгами.

Звали хозяина Яном Тьюрсеном, он попал в русский плен двенадцать лет назад, в Эстляндии. Сначала было плохо, но потом научился жить по-русски и стало хорошо. Возвращаться домой в Швецию владелец австории не собирался. Там, говорят, совсем бедно, денег ни у кого нет, всё забирают на войну, а король Карл сидит где-то в Туретчине и запрещает министрам вести переговоры о мире.

— Умному и хитрому человеку в России жить выгодно, — говорил Ян, ведя постояльцев по мосту обратно в город. — Нужно только знать правила. Здесь кажется, что всё нельзя, а на самом деле почти всё можно.

Симпэй кивал, думая: вот обычный урок, который извлекает слепец, бредя жизненной дорогой, но не видя

Пути. На самом деле всё наоборот. Кажется, что тебе всё можно, но хорошему путнику почти всё нельзя. Только идти вперед.

Сам он рассказал хозяину, что раньше плавал по морям, а теперь служит старшим приказчиком у архангельского купца с фамилией, которую шведу было не повторить и не запомнить: Sjaaposjnikov.

По Гостиному двору было видно, что через Каргополь ездят люди всякие, в том числе с хорошим пониманием и достатком. Зашли в самолучшую из платяных лавок, устроенную на голландский лад, как в столичных торговых рядах: с развешенным по стенам товаром, с картинкой кавалера и дамы над прилавком, даже с зеркалом — себя оглядывать.

Одетый по-немецки сиделец замахал на Симпэя и Катую рукой (они вошли первые): подите отсель, рванина! Но Тьюрсен его успокоил: «У коспот есть тениги», — и сиделец стал медовым-сахарным. Особенно когда Симпэй велел показывать всё наипервейшее — чтоб рубахи непременно тончайшего батиста, чулки и жилеты шелковые, порты с камзолами тонкого сукна, а башмаки самые дорогие.

— Не пялся, это не про тебя, — шепнул он девочке, которая зачарованно уставилась на дамские наряды: широкие робы с пышными юбками на фижмах, стомаки серебряного и золотого шитья, муслиновые сорочки с нижними панталончиками.

И потом выбирал для ученицы всё сам — на глаз, без примера, потому что раздевать ее было нельзя. Накупил товару на сорок с лишним рублей. Уж мансэй так мансэй. Потрясенный Ян не позволил таким богачам нести по-

купки самим — обвешался свертками и коробками, почтительно тащил их сзади, как бы не смея идти вровень.

— В глазах рябит, — пожаловалась Ката, умученная переливчатым сиянием красок и блеском парчи.

— Эта ступень по-своему утомительна, — согласился Симпэй. — Но надо освоиться и на ней. Погоди, дальше будет еще трудней.

Трудно стало, когда девочка облачилась в *абит-а-ля-франсэз*, наряд молодого дворянина. Рубашку с кружевами надо было просунуть в полотняные подштаники, потом влезть в узкие кюлоты и чулки, поверху застегнуть тесный, не вздохнешь, жилет, потом камзол. На голову вздеть алонжевый парик и треугольную шляпу с позументом. На ноги — козловые башмаки, сверкающие пряжками разноцветного стекла.

Сам-то Симпэй оделся проще, в серое, но нижнее белье тоже было мягкое, ласкательное, из тонкого шелка. Приятно!

«Царские» покои в австении были недурны. Зеркал аж четыре штуки, по всем стенам, а еще гравюры с морскими баталиями. В спальне — постель с мягчайшими перинами и балдахином. Сбоку еще и комната для прислуги, где собирался разместиться Симпэй, поскольку ему пятую ступень осваивать было незачем, да и вредно в немолодые годы спать на мягком.

Ката-тян как встала, разряженная, перед самым большим зеркалом, так долго не могла отойти, всё поворачивалась. Камзол на ней был лазоревый с серебром, жилет — звездная парча, порты синь-бархат.

— Это не я, — говорила она. — Это волшебный королевич!

И постукивала по полу то одним каблуком, то другим, любуясь, как переливаются чудесные пряжки. Потом упала на перины, полуутонув в них, задргала ногами.



— Мне нравится пятая ступень! Одежа трудная, но ради красоты можно и потерпеть.

— Это ошибочное представление, свойственное поверхностным жителям Европы, — стал объяснять Симпэй. — Истинная Красота всегда естественна и проста, она как воздух или родниковая вода...

Девочка не слушала. Ей понимать такое было еще не по возрасту.

А через некое время в будуар деликатно постучался хозяин — известить, что обед накрыт.

Вышли в столовую.



Посуда показалась Симпэю грубоватой: ни фарфора, ни серебра, да и мода на скатерти с салфетами до Каргополя еще не дошла, но снедь была по здешним меркам самая изысканная — белые булки, разного засола икры, стерлядки с сига́ми, соленья-копченья, сахарные фрукты, варенья. Мясного Симпэй велел не подавать — монахам убоину есть нельзя.

— Выпей мальвазеи, — сказал он, наливая в бокал янтарного вина. — Немножко опьянеть хорошо. Вино дает отдых уму и выпускает на волю дух. Нужно ведь иногда баловать и их.

Два гостиничных мужика с кряхтением внесли узорчатый лаковый ящик на ножках — клавикорды. Следом вошли два человека с не по-русски тощими лицами. Один с поклоном сел к инструменту, другой вскинул к подбородку скрипку.

Заиграли.

От сладкой музыки у девочки увлажнились глаза. В руке замер недопитый бокал.

А Симпэй свой осушил до дна и с удовольствием ощутил, как затуманивается рассудок. Вина он не пил много лет, со времен морского плавания, где без этого было невозможно.

Хорошо!

Захотелось быть щедрым, говорить о приятном, и он не стал противиться.

— До Петербурга остается полдороги. Хватит нам идти пешком. Обвыкайся на пятой ступени. Найдем карету, дней за шесть домчим. В столице тоже поселимся в австении — пока не сыщется добрый корабль до Амстердама. Возьмем хорошую каюту. Потом, на пути из Голландии в Нагасаки, еще хлебнешь лиха. Нам ведь с тобой наниматься в команду. Меня возьмут боцманом или боцманским помощником, тебя юнгой. И наголодаешься, и наломаешься. Прикармливай свою лошадку, пока можно...

Открылась дверь — должно быть, принесли новых кушаний. Симпэй сидел к двери спиной, девочка — лицом, и лицо это, до сего мига мягко-улыбчатое, вдруг словно одеревенело. Глаза уставились в одну точку, рот приоткрылся.

— Так и есть, — сказал чей-то резкий, торжествующий голос. — Она! Ишь, вырядилась!

Обернувшись, Симпэй увидел стоящего на пороге фискала Ванейкина — как всегда, в черном камзоле,



черной шляпе, черном плаще. Высокие ботфорты забрызганы грязью. Клювастое желтое лицо в глубоких морщинах скалилось улыбкой. За спиной у фискала синели мундиры солдат Преображенского указа.

Бешеный взгляд переместился на Симпэя.

— Никак Буданов? — еще шире оскалился опасный человек (очень, очень опасный — волосы на шее у Симпэя встали дыбом). — Беглый толмач? А я-то думаю, что это с девкой за татарин? В монастыре сказывали... Выходит, не татарин — японец. Эвона как дело оборачивается! Кучеряво!

Оказывается, не только Симпэй знал Ванейкина — фискал тоже примечал скромного переводчика Посольской канцелярии. Должно быть, видал в Преображенском приказе и узнал от кого-то, что японец... Ишь, взгляд разгорелся! Уже придумывает, как сочинить заговор. Опальный правитель с воровскими записками,

пропавший толмач — самый смак для допросного дела. Тут можно такую канитель заплести — будут от начальства и хвалы, и награды.

— Что изумляешься? — засмеялся Ванейкин, сильно собою довольный. — Не возьмешь в толк, как я вас выловил? Просто. Когда узнал, что девку, переодетую парнем, кинуло из Соялы в Сийский монастырь и что с нею вроде был какой-то косоглазый — понял, что идете вы на юг, а значит, не минуете Каргополя. Тут, на воеводском подворье, вас и ждал. Велел доглядывать татарина с конопатым парнем. Вот вы и явились, голуби. Эй, в железа обоих!

Вошли двое солдат. Кандалы у них были уже наготове.

Симпэй безропотно подставил руки, на них замкнулись оковы. Но у Каты кисти были слишком тонки, и ей просто стянули запястья веревкой.

Пока всё это длилось, Симпэй стоял с закрытыми глазами, сосредоточенный на одной-единственной заботе: поскорей изгнать из головы хмель. Тот не поддавался, цеплялся за мысли, путал их. Лишь во дворе, глотнув свежего майского воздуха, монах почувствовал, что вновь начинает овладевать внутренней силой.

У ворот ждала телега, запряженная парой лошадей. Там же был привязан вороной конь Ванейкина.

— Глаз не спускать! Особливо с толмача! — приказал фискал, вскакивая в седло.

Солдаты сели один спереди, на облучке, второй сзади. Пленников поместили между собой.

— Где книжка? — шепнула девочка. — Не сыскали они?

Она была бледна, но от страха не дрожала. Все-таки уже пройдены четыре ступени.

Симпэй покачал головой. Ванейкин так обрадовался своей удаче, что забыл про обыск. Заветная книга, причина всех несчастий, осталась в мешке. Потом-то фискал, конечно, вспомнил бы. Но это потом...

— Скажу «Хо!» — прыгай из телеги, — тоже шепотом велел Симпэй.

Они уже съехали с берега на первый понтон.

— Зачем? Куда мы с моста денемся? В воду прыгнем? — удивилась девочка. — Так выловят. Если не потонем, без рук-то...

— Не спорь с Учителем! — оборвал ее Симпэй.

Вообще-то это было неправильно. С учителем можно и нужно спорить, но он сейчас был очень сердит на себя из-за оплошки с хмелем.

— Как спрыгнешь — сразу зажми уши. Покрепче.

Хорошо, что у нее руки связаны спереди, а не сзади.

— Тихо сидеть! — замахнулся задний преображенец прикладом мушкетона. — Будете шушукать, стукну!

Повозка была уже на середине Онеги.

— Хо! — негромко произнес Симпэй и перекатился через борт телеги на дощатый настил. С другой стороны соскочила Ката.

Убедившись, что она зажала уши, Симпэй издал *хисодзуэ* — особенный свист, от которого лопаются глиняные чашки, падают в обморок неподготовленные люди и взбешиваются животные.

Конь фискала заржал, вскинулся на дыбы, пошел на задних ногах боком, проломил ограду и бухнулся вместе с седоком в воду. Упряжная пара с бешеным храпом рванулась вперед, нелепо бросаясь то вправо, то влево. Пристяжная не удержалась на краю, сорвалась в реку, утянув за собой коренника. Туда же, в майский бурливый поток, ухнула и телега с преображенцами.

— Ой, мамушки, — сказала Ката, опуская руки. — Чего это было-то?

А Симпэй стоял, мучился сомнениями. Шесть живых душ!

Стало немного легче, когда три души, конские, вынырнули. Вороной поплыл к берегу сам, пару держала на плаву деревянная телега.

— Кони живы, — сказал не столько ученице, сколько себе Симпэй. — А людей убил не я, их убили лошади.

— Да хоть бы и ты. Не жалко! — Ката смотрела на него с восхищением. — Меня научишь так свистеть?

— Про «не жалко» — слова недостойные, но обитательнице Нижнего Жилья простительные, — строго ответил он. И добавил, мягче: — Если дорастешь до Второго Жилья — научу.

— Здорово! Я буду как Соловей-разбойник, да?
И пропела:

От него ли-то от посвисту соловьяго,
От него ли-то от покрику звериного,
То все травушки-муравы уплетаются,
Все лазоревы цветочки осыпаются,
Темны лесушки к земли вси приклоняются,
А что есть людей, то вси мертвы лежат.

Симпэй легко скинул кандалы, сжав кисти. Развязал ученице путы.

— Теперь забираем мешок и очень быстро уходим. Бегом, бегом!

Они пробежали по мосту, потом берегом мимо бестолково суетившихся, кричавших людей, потом через двор, потом лестницей во второй этаж. Спрыгнули через окно, уже с мешком.

Около гостиничной конюшни Симпэй сказал: «Подожди-ка».

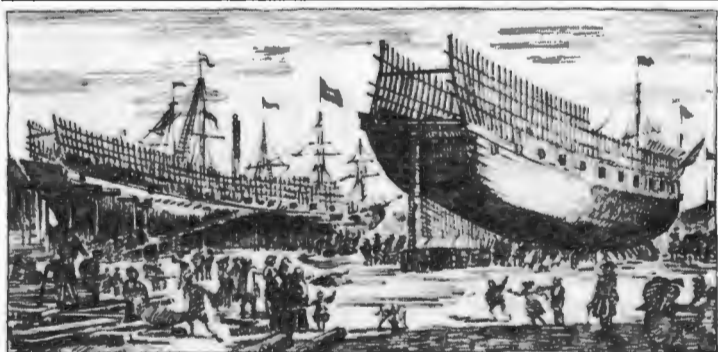
Вытряхнул овес из одного мешка, из другого. Свернул пустые, прихватил с собой.

— Бежим вон до того леса! Ну-ка, кто быстрее!

У девочки ноги были длиннее, но он ее, конечно, сразу обогнал. Бег — тоже искусство, которому надо учиться.

До леса, где не найдут и не догонят (если будут искать и гнаться), было с половину ри.





СТУПЕНЬ ШЕСТАЯ

.ЮДЕЙЩИНА

В лесу стало понятно, на что дед прихватил из конюшни мешки. Ката-то сначала подумала — снова для крыльев, а нет.

Он сорвал с нее лазоревый камзол, золотую жилетку, ободрал на батистовой рубашке рукава, велел скинуть башмаки. Вывалил их в грязи, отодрал чудопряжки (Ката охнула). Потом прорезал в мешке три дыры.

— Натягивай. Сюда голову, сюда руки.

Получилось рубище почти до самой земли. Так же переобрядил и себя.

Встали они друг перед дружкой двумя нищими оборванцами. Шляпы-то треугольные с париками еще на бегу кинули.

— Так-то лучше, — сказал. — Можно дальше идти, глаза никому не намозолим. По дорогам попрошаек много шляется.

Она потеряла голые плечи, повздыхала. Жалко было одежной красоты.

— В мешках, конечно, быстрым бегом не побегаешь и даже быстрым ходом не походишь, — продолжал сам с собой разговаривать Учитель, — так что пойдем попросту, медленно. Куда нам торопиться?

— Ванейкин с солдатами потопли. Может, уйдем подальше, да сызнава приоденемся? Ты говорил, карету найдем, до Петербурга домчим. Деньги-то есть.

— Трижды нет, — ответил Симпэй.

— А?

— Государство подобно сказочному змею Горынычу, вместо одной отрубленной головы отрастают новые. Коли есть приказ нас сыскать — будут сыскивать и без Ванейкина. Это первое «нет». Второе «нет»: на карете не поедem, иначе нас каждая застава доглядывать станет.

— А третье «нет»?

— Денег тоже нет. — Он вынул из мешка кошель с золотом, бросил наземь. — Хватит с тебя пятой ступени. Давай обучаться следующей, шестой. Она называется длинно: «Легкость отказа от богатства и привязанности к вещам». По-настоящему свободен тот, кто хоть и знает радость богатства, но не скован им, как цепью, запросто может его отринуть и нисколько тем не сокрушается. Идем.

И пошел себе, даже не оглянувшись на золото. А Ката оглянулась, да не раз. Сокрушаться не сокрушалась, но, конечно, жалко было. Вот свезет кому-то, кто в лес по ягоды пойдет!

И потом плелась за Учителем, ворчала.

— Хоть бы малую малость оставил. Нам без копыт, без ходуль до моря, поди, месяц тащиться. Чего жрать будем?

— Есть съедобные корни, травы, листья. Скоро пойдут сыроежки. Мир Будды полон еды, — беспечно от-

ветствовал дед. — Не думай о пустяках. Давай я лучше тебе расскажу про осацкого купца Дандзюро, который променял всё свое богатство на одно чаепитие.

И завел длиннющий рассказ, которому Ката внимала вполуха, печально глядя вниз, на свои изуродованные башмаки. Почему-то прекрасных пряжек было жальчей всего.

И поплелись они, отринувшие богатство, сначала лесом, после полем, потом шляхом. Дорога им была мимо одного моря-озера, Онежского, к другому, Ладожскому, а там повдоль реки Невы к дальнему нерусскому русскому городу Санкт-Петербургу.

По шляху двигались многие, в обе стороны. Здесь, ближе к государеву оку, всё шевелилось, тужилось, кряхтело. Громыхали тяжелые обозы с казенной поклажей и всяким товаром; топали под охраной колодники и рекруты — первые в цепях, чтоб не разбежались, вторые тоже привязанные к длинной веревке; хватало и нищих, таких же, как дедушка с Катой.

Симпэй всем, кто оказывался рядом, кланялся, спрашивал кто откуда да куда. Иные отвечали, другие недобро молчали или лаялись — этим он тоже кланялся.

На третий день скучного пути, когда Ката еще вздыхала по пряжкам, то есть пока была очень далека от постижения шестой премудрости, Учитель разговорился с одним возницей. В том же направлении, на закат, ехал целый обоз с платяным рваньем, с одежным локутом. Симпэю сделалось любопытно — зачем?

Мужик сказал: в Вытегре поставили бумажный завод, велено везти туда всякую ветошь, прясть из нее бумагу.

Дед отвел Катю в сторонку. Давай, говорит, отойдем в кусты, снимем свои кюлоты, безрукавные рубахи, да обменяем на рваньё. Зато дальше без мешков пойдем.

— Давай, — сказала она. — Только я сама.

Взяла двое целых коротких порток, чулки, рубашки. Подошла не к вознице, а к старшему над обозом приказчику.

— Гляди, какое сукно, какой батист, а пуговицы! Эти серебро, эти бисер. Купи всё за два рубля. Тут за одни штаны пять рублей плочено.

— Плочено, да не тобой, — ответил приказчик, щупая хорошие вещи. — Ограбили кого?

— Не хочешь — не надо.

Поторговались немалое время, сошлись. Получила Ката семьдесят копеек денег и в придачу взяла с воза двое мужицких порток, латаных, но еще крепких, да две холщовые рубахи, хоть ветхие, а все лучше, чем мешки.

Вернулась к учителю гордая, похвастала прибытком.

— Пойдем, как люди. А ночью и побежим. Опять же в деревне молока купим, хлеба. Живот подвело от твоих корешков.

— Одежда это хорошо, — похвалил ее дед. — Без нее путнику нельзя. А деньги дай-ка...

Ссыпал себе в горсть, размахнулся — и в канаву.

— Плохо ты урок усвоила. На что нам деньги? Чего тебе не хватает? Хочешь пить? Вон ручей. Хочешь есть? Вон лес.

Ката надулась, и потом долго шли молча.

Правду сказать, в деревнях, какие попадались им по дороге, ни хлеба, ни тем более молока было не купить. Половина селений вовсе пустовали, потому что мужиков забрали в солдаты или на работы, а бабы с

ребятишками разбрелись кормиться Христа ради. Но и там, где оставались люди, прикормиться было нечем. Старый хлеб к лету закончился, новый будет еще не скоро. Крестьяне сами просили у проезжавших кто милостыни, кто заработка. Если ломалось тележное колесо или расковывалась лошадь — кидались, отталкивая друг друга.

— Пятнадцатый год война, двадцатый год стройка, пятьсот лет неустройка, — говорил Симпэй, вздыхая. — И ничему ведь не учатся — ни верхние, ни нижние. Как-то оно здесь всё будет, в России...

Про Россию он стал задумываться, потому что на привалах Ката читала ему из книжки. Князь Василий Васильевич в последних главах много писал про царя Петра — такое, что, попади эти письма к сотоварищам мертвеца Ванейкина, обладателям крамольной книжицы не сносить бы головы.

Ката читала шепотом.

Царь подобен насильнику, берущему у Руси грубой силой, с удушением горла то, что страна сама охотно дала бы по сердечной любви, сетовал Голицын. Неможно-де поднимать державу, губя и муча ее жителей. Даже рачительный пастух лишь стрижет своих овец, но не сдирает с них шкуры, ибо так никакого стада не останется.

А дедушка к тому присовокуплял свое, по буддийской вере.

— Вечное заблуждение земных правителей — видеть народ, но не видеть человек, — говорил он. — Для царей всегда тысяча подданных ценнее, чем сто, сто ценнее, чем десять, а десять ценнее, чем один. Но никто никому не равен, никого никем заменить нельзя, и тысяча людей не важнее и не ценнее одного человека.

И ведь всякий это знает. Спроси каждого: кто важнее — один человек, имя которому Ты, или тысяча других людей, которых, может быть, на самом деле и не существует? Иль спроси: променяешь ты того, кого любишь, на тысячу иных, к кому безразличен?

Так и шли, разговаривая и читая, день за днем, а ночей, считай, вовсе не было: чуть померкнет небо и тут же снова светло. Июнь.

Идти бы так всегда, легко и свободно, думала Ката. Ночи белы, озера сини, леса зелены, поля широки.

Шли небыстро, потому что переодеться переоделись, но из-за ночной светлости скороходствовать не получалось, да и больно людной стала дорога, не пустевшая ни в какое время. Отсюда было уже недалеко до мест, опаленных лютым петербургским огнем, — где рубили корабли и лили пушки. Казенные обозы не останавливались и ночью, а для пущего поспешания на каждом перекрестке и на многих холмах стояли виселицы, где болтались нерадивцы, кто плохо поспешал.

Мимо первого такого покойника Ката семенила, отворачивая лицо, но Симпэй удержал ее за руку.

— Стой. Для тебя ничего страшного быть не должно. Если же чуешь страшное — туда и смотри, туда и иди. Ну, чего ты напугалась? Погляди на мертвеца. Тебе жутко, а ему нисколько. Потому что он уже знает: всё страшное осталось здесь.

Так-то оно так, но а все ж видеть, как ворон долбит клювищем голову, которая еще малое время назад радовалась и горевала, было маетно. Хорошо что в Японии — дед сказывал — покойников жгут. Значит, сожгут и монашку Катю. И ничего. Огонь — дело чистое. И когда еще это будет.

— Где мы? Сколько дней мы уже идем? — спросила она однажды.

— Какая разница? Времени нет, его придумали глупцы, которые не умеют жить полной жизнью. Полная жизнь у тех, кто ее познал, всегда сейчас, — ответил сначала непросту Учитель, но потом всё ж объяснил: — Большая вода, что синее по правой руке, — это уже Ладожское озеро. Скоро будет Лодейное Поле, где флотские верфи и заводы.

Но сначала потянулись пни, без конца и краю. Кто-то вырубил здесь бессчетное число могучих сосен, так что получилось будто многоверстное кладбище. Стоял тысячетный бор, да весь полег, остались одни могилки.

Потом на дальнем краю бывшего леса зачернели дымовые столбы.

— Олонецкие железные печи, — сказал Симпэй. — Льют для кораблей пушки и якоря. Там же парусные и канатные мануфактуры. На Ладоге корабль и строят, и снаряжают, и оружают. Потом пускают в реку Неву и дальше в море, шведов воевать. Тысячи народу тут живут, отовсюду согнанные. Еще больше тех, кто в землю лег... Вот это и есть государство. Смотри. Но издали. Мы с тобой Лодейное Поле стороной обойдем. От государства чем далее, тем лучше.

С дороги они свернули, пошли полем. Часа через три вышли на холм, откуда виднелась и озерная ширь, и весь берег.

Ката ахнула. Четыре огромные ладьи, каждая со сказочную Чудо-Юдо-Рыбу-Кит, лежали брюхом за земле: две будто обглоданные, один хребет, еще две об-

шитые досками. Подле каждой копошились людишки, великое множество.

— Как муравьи гусениц тащут! — поразилась Ката.

— Галеры это. Их тут строят и на воду спускают. Неделя — четыре новых, неделя — еще. А царю всё мало.

Ката засмотрелась на великое строительство. Что народу-то! Она за всю жизнь столько не видала.

А Учитель вдруг тихо сказал:

— Похоже, зря мы с тобой на холм поднялись. Пригнись, да не резко. Потом на живот ляг.

Она обернулась.

Внизу по траве ехали несколько конных: один спереди, остальные поотстав.

Симпэй уже был на локтях, а Ката немного замешкалась. И заметил их передний конник. Закричал:

— Эй, вы двое! А ну давай сюда!

— Молчи, — велел Учитель, поднимаясь. — Говорить буду я.

Спустились с пригорка.

В седле покачивался обрюзгший, небритый человек с красными, полупьяными глазами. На голове — съехавшая набок треуголка с линялым позументом, во рту дымящаяся трубка, в жилистой руке плеть.

— Чьи вы, дрань? — спросил он и сплюнул табачную крошку.

— Свои собственные, — с поклоном отвечал Симпэй.

— На Руси своих собственных нету, все государевы... Ни чьи, значит. Это хорошо. — Небритый улыбнулся половиной рта. — Еще рублишко...

Он наклонился, всматриваясь в деда, потом в Катю.

— Татарина — к татарам, в яму. Мальчишка тощий, хилый. К углежогам его.



— Дозволь слово молвить, сударь... — начал было Симпэй, да захрипел — горло ему перехватила ловко заброшенная петля.

Другой аркан оплел плечи Каты. Она чуть не слетела с ног — так рванула натянувшаяся веревка.

Учителя поволокли в одну сторону, ученицу в другую.

— Дедушка! — крикнула Ката, но не удержалась-таки, упала, и лошадь проволокла ее по земле. Когда же кое-как исхитрилась подняться, Симпэя утащили уже далеко.

— Помни, чему я тебя учил! — донесся крик издали.



* * *

Это уже потом, время спустя, узналось, что на том невысоком холме они попались на глаза «охотникам», которые рыщут по окрестностям, хватая подряд всех, у кого нет казенной бумаги, и волокут на верфи, заводы и заготовки, получая за то награду — по полтине с головы. Ненасытному Лодейному Полю (или как его звали здесь «Лодейщине») вечно не хватало рабочих рук. Трудники мерли, как мухи, и добыть им замену делалось всё мудреней. Деревни на сто и двести верст во-

круг давно опустели. Мужики, кто еще не угодил в солдаты, матросы или на работы, разбрелись от греха кто куда. Копали, рубили, тесали ловленные бродяги и дезертиры, каторжные колодники, плохо упрятавшиеся раскольники, иногда издали пригоняли пленных шведов и крестьян-чухонцев, но эти жили недолго.

Главнейшим начальником над всею многоверстной стройкой считался санкт-петербургский губернатор князь Меншиков, но за великими государственными заботами светлейший бывал на Лодейщине редко, а управлял всем шаутбенахт Бессонов, повелитель тел, душ и даже костей, ибо сильно провинных трудников земле не предавали, но вывешивали напоказ, тлеть до голого скелета, и мертвая эта гниль смердела тут повсюду. Пока Кату волокли на аркане, она насмотрелась ужасов. Виселицы-то ладно, но были тут и мертвецы на колах, и колеса торчком, с которых свисали нелепо изломанные трупы.

Властителя жизни и смерти десяти тысяч рабочих и тысячи охранников звали кто Бессоном (казалось, этот страшный человек никогда не спит), кто Безносом — у него поперек лица чернела повязка.

И вдоль озерного берега, и на поле, и на вырубках стояли дощатые балаганы без окон. Ката подумала — хлевы, что ли? Но в конце концов дотащили до одного такого, самого дальнего, и ее.

— Прймай, углежоги! — крикнул верховой, снимая аркан.

Грязный солдат в латаном-перелатаном мундире отпер дверь, и пленницу тычком пихнули внутрь. Когда глаза привыкли к темноте, стало видно длинную лавку вдоль стены, посередине — стол, две скамьи. Больше здесь ничего не было.



Ката села в углу, начала вспоминать все пройденные ступени — как напоследок велел Учитель.

Сначала подвергла приключившуюся жуть сомнению: может, это дурной сон? Дурные сны хороши тем, что они кончаются. Кончится когда-нибудь и этот. Так же легко расправилась с голодом, с болью в намятых петлею плечах, со страхом. Ну а радостей жизни в наличии не было, так что не от чего и отрешаться.

Чему будущую монахиню и буддоохранницу никто пока не обучил — не тревожиться за тех, кого любишь, и Ката сильно переживала за дедушку. В какую это яму его отправили? К каким татарам? И самое главное: свидятся они еще или нет?

Вспомнила, однако, как Симпэй говаривал: «Никогда не пугай себя тем, что еще не случилось, а лишь может случиться», — тем и утешилась.

Щели меж стенных досок, поначалу серые, делались темнее. Снаружи смеркалось, потом вовсе почернело. Когда наконец открылась дверь, оттуда заскрипело и задуло, а видно ничего не было.

Какие-то люди, десятка два, тяжело ступая и кряхтя, вошли внутрь. Оттого что они ничего не говорили, а молча разошлись по сараю, стало жутко, но Ката опять справилась со страхом. Что бы ни случилось, всё лучше, чем сидеть в углу, непонятно чего ждать.

В одном, другом, третьем местах защелкало, сверкнули искры, загорелись трупы. Потом занялись лучины. Огня от них было мало, но после кромешной тьмы Кате показалось светло.

Угрюмые, косматые мужики, все на одно лицо, будто братья-погодки, рассаживались у стола.

Увидели ее.

— А, вон он, малой-то, про кого говорено, — сказал один. — Ишь, хлипкой. Куда его, Пров?

Другой медленно обернулся. Широко расставленные глаза уставились на нее, навечно сдвинутые брови шевельнулись. Этот, кажется, здесь был главный — остальные ждали, что он скажет.

— Веткорубом будет.

И отвернулся.

Солдат внес дымящийся котел, бухнул на стол. Кинул каравай хлеба.

— Нате, жрите.

Никто на еду не кинулся.

Тот, кого называли Провом, не спеша вынул нож, порезал хлеб на равные куски, каждому по одному. Встала и Ката, но ей ничего не осталось.

Сбоку ее пихнули.

— Куды суешься? Не наработал ишшо.

Все разобрали хлеб, достали ложки.

— Молитесь, кому надо, а кому не надо — так ешьте, — сказал старший и первый зачерпнул варева — жидкой каши или густой похлебки, не разобрать.

За ним быстро — второй, третий, четвертый. Котел двигали вдоль стола в одну сторону, потом обратно. Никто не толкался. Должно быть, порядок, кому после кого, у них был установлен.

Потом Ката узнала, что так и есть. Сидели и черпали ложками по старшинству. Первым — десятник Пров, потом старший рубильщик (кто топором дерево валит), за ним пильщики, строгальщики, щепники, костерные. По работе и уважение. Артель углежогов валила негодные для корабельного строительства деревья и сжигала их, превращая в уголь, надобный для плавильных печей.

Поели быстро и все сразу разбрелись по лавкам — укладываться.

Ката сидела в своем углу, думала.

Сбежать бы отсюда, но как? Дверь одна, за нею топчется, лязгает ружьем часовой.

А и сбежишь — как среди всех бесчисленных дощатых сараев сыскать деда Симпэя?

Сказала себе: ничего. Мансэй учил, что терпеливому уму постепенно открываются все тайны, а говоря попросту, по-нашему — утро вечера мудренее.

Пристроилась на лавке калачиком, чтобы дожидаться утра, но не тут-то было.

Когда, повернувшись лицом к стене, ждала, пока накатит сон, кто-то подошел сзади, взял за плечи, развернул.

На столе еще не догорела лучина, и Ката увидала над собой, в помигивающем красноватом свете пегую

бороду, посреди которой в черной яме поблескивали мелкие влажные зубы.

— Будешь мне, малец, вместо бабы, — просипела черная яма, из которой несло гнилью. — Скидавай портки!

Эх, не успел дедушка научить японской драке! И свистеть по-соловейразбойничьи тоже! Что делать? Если этот поймет, что перед ним девка, тут и все прочие накинутся...

— Уйди! — громко сказала Ката — и еще громче: — Помогите!

Но никто не помог, даже не встал. Только один какой-то с брезгливой ленью кинул:

— Охота тебе поганиться, Сипа?

— Охота-охота, — ответил гнилой. — А ты не встречай.

И Кате:

— Как будем, по-хорошему или по-плохому?

Взял за шею, стиснул. Другой рукой ухватил за ухо.

— Буду крутить, пока не скажешь: «Покоряюсь, дяденька».

Пальцы сжали ухо, закрутили с вывертом. Да сильнее, сильнее.

— Ну?

Ката молчала, разговаривала с болью — и та ничего, понимала.

— Упрямый, да? — Сипа нагнулся ниже. — А второе заверну?

Стало больно и второму уху, так что пришлось перейти с уговоров на ругань. Заткнись, боль! Изыдь, докучная!

Мучитель сопел, злился.

Вдруг раздался густой бас Прова:

— Отвяжись от парня, Сипка. Он побольше мужик, чем ты. Эй, Тошой, давай сюда. Подле меня жить



будешь. И тихо все! Скоро засветает, работать погонят.

Держась за горячие и большущие, каждое с лепеху, уши, Ката поскорей перебралась на лавку, где уже храпел десятник.

До утра, которое мудренее, и правда оставалось всего ничего. Коротенькая ночь, едва начавшись, уже заканчивалась.

* * *

Мудренее постепенно стало, хоть не на первое утро и не на второе. Понемногу, по крупиночке Ката разобралась, куда она попала и что на Лодейщине за житье-бытье.

Житье-бытье было такое, что умней всего поступали трудники, кто сразу помирал, без лишних мучений. А попала Ката туда, откуда выбраться не выберешься. Как сказал однажды Пров: чего другое нет, а людей стеречь на Руси-матушке умеют.

Имелась тут и своя присказка: «От Безноса — только к Безносой». Тех, кто пробовал бежать, сажали на кол или ломали на колесе. А пуще того помогала острастка для охраны: солдат, у которых случился побег, по жребию вешали через двоих третьего. Остальных, кому повезло, секли плетью до сырого мяса и самих отправляли на работы. Поэтому охрана стерегла не за совесть, а за страх — намертво.

Пригляд за трудниками был повсюду. В лесу на рубке, по дороге, даже на воскресной службе в церкви. На ночь же балаган запирали, у входа жгли костер, и всегда стоял часовой с примкнутыми багинетами. За нуждой, и то не выводили.

Держава шаутбенахта Бессонова трудилась на государеву потребу без перебоя. Пыхтели плавильные печи, в кузницах с утра до ночи грохотали молоты, у штапелей стоял хруст топоров, визг пил.

Будь хоть ливень, хоть ураган, но каждое воскресенье в озеро нужно было спустить четыре галеры, поставить на них мачты, снарядить их парусами, прицепить пятисаженные весла, закрепить пушки, и прочее, и прочее.

Ненасытная Балтика ждала всё новых и новых кораблей — давить шведа не умением, так числом. Бить врага на море русские еще не научились и выходили в плаванье тучей, чтоб враг не совался. Вот Лодейщина и надрывалась, изо всех сил тужилась — нагоняла тучу.

Корабельная работа шла в четыре потока или, выражаясь по-европейски, в четыре линии.

В трехстах шагах от берега стояли огороженные тыном четыре склада для заготовок. Там из древесных стволов делали мачты и реи, доски для обшивки, весла, скамьи и прочее.

Во втором звене, расположенном ближе к озеру, собирали галерные остовы.

Потом готовый скелет корабля спускали по пазам в «яму», и там шпангоуты зашивали доской, шпаклевали, смолили, красили, настилали палубы.

По воскресеньям открывали шлюз, наполняли «яму» водой, и тогда, под пушечную пальбу и трубный рев, выводили корабль в озеро. Работы оставалось еще много, но галера уже имела имя, флаг и считалась частью государева флота.

Как только Ката услышала про «ямы», сразу догадалась: дедушка там.

Начала расспрашивать. Узнала, что хуже «ямы» места нет. Если вся Лодейщина — преисподня, то там самый черный ее предел.

— Нас из балагана хоть на вырубку выводят и по воскресеньям к обедне, а «ямные» все безвылазные, — рассказал Пров. — В «яме» живут, в «яме»дохнут, там же их и зарывают. Когда воду озерную запускают, хошь всплывай, хошь тони. Потом спустят — сиди в грязной луже, догнивай.

В одной «яме» работали каторжные, в другой хохлы-мазепинцы, в третьей провинные солдаты, в четвертой агаряне, они же «татары». Эти — за то, что шаутбенахту двадцать лет назад под Азовом крымской саблей отхватили нос; с тех пор Безнос был к магометанам лют. Никто еще из «ямы» не выходил, ни живым, ни мертвым, сказал Пров.

Десятник был мужик звериной силы и сурового нрава. Работа у него была — валить деревья. Березовый

ствол толщиной с руку он перерубал одним ударом топора, двадцатилетний тополь — двумя или тремя. Порядок в артели держал крепко, никто не заперечь. Но все было по справедливости: кто больше работает, тому больше уважения. Всяк знал свое место и понимал, почему его занимает.

Пров долго приглядывался к парнишке-веткорубу. Никому в обиду не давал, но один раз за неловкость сам двинул ручищей по скуле, в четверть силы. У Каты чуть не вышибло дух, однако она не ойкнула, а молча перехватила тесак, чем ветки рубят, по-другому, заработала быстрее. Пров кивнул: так лучше.

Он был беглый солдат, побывавший в походах, сражениях и осадных сидениях, много что повидавший и переживший, но на рассказы про свое прошлое скупой. Должно быть, в прежней жизни Пров был плотник — очень уж ловко управлялся с топором. Пока остальные терзали сваленное им дерево, Пров резал деревянные ложки — менял у стражников на табак, к которому приучился на военной службе. Во время передыхов сидел, покуривал. Глядел вверх, в небо. О чем думал — бог весть.

Но однажды, во второй месяц Катиного плена, поманил к себе: сядь-ка рядом.

— Смотрю я на тебя, Тошóй (так все ее звали), и не пойму, что ты за парень. Никогда не ноешь, не жалишься. Давеча Никишка-кухарь оступился, кашей тебя обварил — ты не охнул. А сейчас, вон, носом шмыгаешь и глаза мокрые. С чего?

И Ката поняла, что десятник кончил к ней приглядываться, решил допустить к себе. Потому рассказала честно — про деда: как он гибнет в мокрой «яме» и как она все время про то думает.

— Чудной ты, — покачал головой Пров. — Тут всяк по себе плачет, одного себя жалеет. Оттого и живем на

цепи, по-собачьи. Не только на Лодейщине. Вся страна такая. Скулить скулят, да не кусаются. Хвосты поджимают, кости грызут. Коли позволяешь себя за собаку держать — сам виноват. Тьфу, а не народишко!

Сплюнул желтой табачной слюной.

— А как не позволишь? — спросила Ката. — Кругом солдаты, у солдат ружья. Кто с цепи сорвался — вон, на колах торчат.

Пров ничего не ответил, лишь махнул рукой: ступай, ступай.

Но с тех пор начал с веткорубом иногда разговаривать, про разное. И однажды, еще недели через две, вдруг сказал, будто та беседа и не прерывалась:

— С цепи надо срываться с умом. Чтоб не поймали. Выждать хорошего часа — тогда и бежать.

— А куда? — спросила Ката.

Он удивился:

— На свободу, куда. Я из солдатчины сбежал — год погулял, пока «охотники» не поймали. На свободе хорошо. Побежишь?

— Побегу.

— Тогда уговор: о том ни с кем ни полслова. Будет час — сорвемся.

Ката молча кивнула, и потом о побеге ни разу говорено не было.

* * *

«Час» настал неожиданно, на исходе лета.

Мокрый августовский день начался как обычно. На рассвете артель погнали на вырубку, до которой был целый час ходу. Дождь как полил с утра, так всё не

переставал. Часовые установили для себя полотняный навес. Сидели под ним, точили лясы, курили табак, играли в зернь на щелчки. Вымокшие до нитки трудники месили грязь, валили деревья, пилили их, таскали к плохо горящим кострам. По-умному, в такую погоду древесину жечь было — только губить, но по-умному на Лодейщине не работали. Приказано жечь — жги, не то начальство спросит.

Вдруг, уже далеко за полдень, вдали ударила пушка. Потом еще одна и еще. Где-то далеко нестройные голоса завопили «ура-а-а!».

Капрал вылез из-под навеса, съезжился под дождем, зашлепал по лужам туда, где кричали, — выяснять, что за шум.

Обратно примчался бегом, распаренный.

— Шабаш! Работы сегодня не будет! — закричал он солдатам. — Великая виктория! Наши корабли где-то на море шведов побили! Поручик сказал, приказано всем водки дать! Еще по калачу ситному да баранок!

— И нам? — спросил пыльщик Никиша.

— Вам — от баранок дырки, — ответил капрал и замахал палкой: — Подбирай топоры, пилы! Живей, живей! Бегом!

Солдаты стали толкать трудников прикладами, подгонять матерно. Служивым не терпелось поскорей вернуться в лагерь — выпить.

Подскальзываясь на мокрой земле, артель порысила назад.

На Лодейщине было дивно.

Работы повсюду прекратились. Мужиков гнали домой, в балаганы.

Там и сям солдаты стреляли в воздух из ружей. Шаутбенахтова парусная яхта, стоявшая на якоре в кабельтове от берега, покачнулась, пальнула всеми своими двенадцатью пушками и окуталась белым дымом.

По дороге, размахивая палашом, пронесся на коне сам шаутбенахт. Был он в одной распахнутой рубаше, простоволос, черная повязка на кось. Орал: «Гангут! Гангут!» — черт знает, что это значило. Главный Лодейный начальник был счастлив и пьян. Это его галеры, его пушки побили шведа.

А к вечеру перепилась вся охрана. Водки солдатам выдали на упой.

Пров стоял у двери, слушая, как из сторожки доносится развеселая песня про комаринского мужика, и тихонько подпевал:

— «Тише, тише топочите, пол не проломите! У нас под полом вода, в ей не потоните!».

Вид у него был довольный. Поймал Катин взгляд — подмигнул. Она поняла: сегодня.

К глубокой ночи снаружи стало тихо. За дверью, привалившись к дощатой стене, похрапывал часовой. Остальные, должно, задряхли.

Пров шепотом опросил артельных: кто побежит, кто нет.

Заохотились только шестеро, остальные убоялись.

Ката стояла подле десятника, ждала. О том, что у нее на уме, пока не говорила. Надо было сначала как-то выбраться из запертого сарая, но как? За дверью караулит солдат, в сторожке еще четверо. Подыметесь шум — набегут другие. Думал про то Пров или нет?

— Готовы? — тихо спросил десятник. — Делай как веляю да не отставай.

Он поднял руку и, когда в ночи грянул новый пушечный выстрел, миг в миг, ударом пудового кулака вышиб дверь.

От стены качнулся часовой. Вылупил пьяные глаза, разинул рот — заорать, да не успел. Другой удар, в лоб, свалил солдата с ног.

Пров подхватил фузею, снял у упавшего подсумок, пороховой рожок.

— Одно ружье есть, — довольно сказал десятник. — Пойдем еще добудем.

В сторожке со спящими управились быстро. Связали, рты заткнули кляпом. Капрала и еще одного охранника, рябого, забили ногами до смерти. Этих двух ненавидели за мучительство.

— Ружья, зелье, тесаки разбирай, — велел Пров. — Топоры тож. В лесу сгодятся. Будя нам, как зайцам, бегать. Теперь мы их, псов, погоняем... Ты чего встал, Тошóй?

— Вы в лесные разбойники? — спросила Ката. — Я с вами не пойду.

Десятник хлопнул ее по плечу.

— Не бойсь, душегубствовать не станем. Только царских слуг, поганных кровососов. Это жизнь лихая, да честная. Идем, парень. Полюбился ты мне. Тихий-тихий, а отчаянный, навроде меня.

— Мне надо деда выручать. Я говорил... Прощайте. Она поклонилась товарищам.

— Погоди! Сдурел? — Пров схватил за руку. — Как ты его из «ямы» вытащишь? Пропадешь зазря.

— Пропаду так пропаду, но его не брошу. Пусти, пойду я.

— Экий ты какой, парень, — покачал лохматой башкой десятник.

— Я не парень, я девка, — сказала Ката, потому что с хорошим человеком надо расставаться без кривды.

Десятник крикнул, попятился.

— ...Тем боле сгодишься. Отчаянных парней много, а девки мне покуда не попадались. Поди, и дед твой непрост. Ладно, помогу тебе... Эй! — повернулся он к остальным. — Ждите на опушке, где вчера деревья рубили. До рассвета не вернемся — уходите.

* * *

Они долго шли ночным лагерем, где если кто и спал, то лишь умаявшись от водки. Повсюду орали «виват!» и палили в небо, а над холмом, где главный острог, вскинулись яркие шары. Ката догадалась: файерверх, про который в книгах пишут. Раньше она видела огненную потеху только на гравюре. Красиво!

— Татарская «яма», кажись, вон та, крайняя, — сказал Пров, не понижая голоса. — Эх, неладно там...

Шел он открыто, в солдатской треуголке, с ружьем на плече. Если кто и увидит — ничего не заподозрит.

Ката и сама увидела, что неладно.

На краю котлована горели костры. Караульных тут было десятка три — «ямных» стерегли строго. И здешние солдаты не спали. Пьяная гульба у них была в самом разгоне.

— Царскому величеству государю Петру Алексеевичу... — завел тонкий голос.

Зычные глотки подхватили:

— Виват! Виват! Виват!

Подсвеченные огнем тени разом сделали одно и то же движение — солдаты опрокинули чарки.

— Генерал-губернатору Лександре Данилычу Меншикову...

— Виват! Виват! Виват!

— Господину шаутбенахту...

Тревожно озираясь, Ката шепнула:

— Этак они долго будут. Что делать?

Пров тоже оглядывался по сторонам.

— Идем-ка...

И пошел туда, где чернел поставленный на штапели, но еще не спущенный в «яму» остов недостроенной галеры.

Здесь охраны не было — некого сторожить.

— Сена подтащи, — показал десятник на стожок лошадиного корма, а сам щелкнул огнивом.

Зажегся малый огонек. Слегка разгорелся. Потом пуще. Еще пуще. Красный язык пополз вверх по деревянному ребру, а Пров уже поджигал с другого бока.

Ката бегала к стогу и обратно, подносила сено.

— Хватит! Прячемся!

Прошла еще минута, прежде чем пирующие заметили разгорающееся пламя.

— Караул!!! — завопил тот же голос, что кричал здравицы. — Галера горит! Ребята, туши! Голов нам не сносить!

И зашумели, сорвались, затопали, побежали гурьбой.

— Ай красно! Ай ладно! — залюбовался делом своих рук Пров. — Всю бы ихнюю казенную справу пожечь, вместе с царем и енаралами.

Но Ката уже неслась к «яме», на краю которой не осталось ни одного солдата.

Свесилась, крикнула в кромешную тьму:

— Дедушка! Дедушка! Ты здесь? Это я, Ката!

Стало вдруг очень страшно. Раньше не позволяла себе думать — а что, если он не сдюжил «ямы» и помер? Пров говорил, что «ямные»дохнут быстрее всех прочих, мало кто выдерживает больше месяца, а тут почти три прошло.

— Дедушка! Ты где? — и слезно задрожал голос.

— Путнику разрешается плакать только от умиления пред красотой мироздания, — донеслось снизу. — Этому я тебя еще не учил, но запомни.

Подоспевший Пров кинул в черноту пук горящего сена.

Стало видно, что под отвесным земляным спуском кучей стоят люди. На повернутых кверху лицах одинаковыми огоньками светились глаза. Лица были по большей части скуластые.

— Да тут глыбоко, сажени три, — пробормотал десятник. — Где-нито должна быть лестня...

— Живой, живой... — всхлипывала Ката. Мироздание в этот миг казалось ей очень красивым, так что не грех было и поплакать.

— Ты не бойся, книга цела, — сказал Симпэй. — Не размокла. Я ее просмоленной тряпицей обернул. У нас тут смолы много.

А Ката про заветную книгу за всё это время ни разу и не вспомнила. Только за деда и боялась.

Вернулся Пров, стал спускать приставную лестницу.

— Лезь живее, дед! В лесу наговоритесь!

— Это Пров! — объяснила Ката. — Он хороший. Которые воли хотят — тех в лес ведет.

Симпэй поклонился незнакомому человеку, но сразу подниматься не стал. Повернулся к осталь-

ным, поклонился тоже и им, заговорил на непонятном языке.

— Ты и татарский знаешь? — поразилась Ката.

Татаре зашевелились, заговорили промеж собой, а Симпэй ответил ученице:

— Выучил, за столько-то времени. Я спросил, кто хочет в лес.

По тому, какая очередь выстроилась к лестнице, было ясно, что воли здесь хотят все. Татаре не пихались, не дрались, и первым снизу поднялся дедушка.

Солдатам было не до «ямы», в эту сторону никто не глядел, да и не видно им было бы, из светлого в темное. Галера пылала огромным костром. Вокруг нее метались тени.

Симпэй с удовольствием посмотрел в ту сторону, покивал сам себе головой.

— Господина прапорщика повесят. Солдат выдерут и посадят вместо нас в «яму». Этому радоваться нехорошо, но очень приятно.

Пров скреб затылок, глядя на вынырывающих из темноты татар. Их становилось все больше и больше.

— Это чего я, буду татарский атаман? Помогай, дед. Они тебя слушаются. Будешь при мне есаулом. Скажи, чтоб не галдели. Чтоб лезли быстрее.

Учитель перевел, но потом с поклоном сказал:

— Благодарю тебя, достойный *акунин*, но я не могу быть твоим помощником. Мы с Катой уходим. У тебя свой Путь, а у нас свой.

Произнесено это было так окончательно, что Пров, сам человек твердый, уговаривать не стал.

— Ну, свой так свой. Не поминай лихом, парень... Или девка, все одно.

И отвернулся — ему нужно было наводить порядок в своем уже немалом войске.

— Эй, нехристи! По-русски кто понимает? Айда ружья разбирать! — Он показал на составленное в козлы оружие. — Кто хочет со стражей поквитаться? Татары зашумели. Желающих было много.

— Пойдем, — сказал Симпэй. — Предоставим этих добрых и недобрых людей их карме, а нам пора учиться дальше. На чем мы остановились?





СТУПЕНЬ СЕДЬМАЯ

Шинселебург

З а время разлуки девочка стала еще тоньше. Похожа на *ироха-момидзи*, с которого зимой облетела листва, подумал Симпэй. Но такая же цепко ухватившаяся за землю. Тайфуну придется сильно постараться, чтобы это деревце переломить.

Сам он, должно быть, выглядел не менее потрепанным, потому что ученица смотрела на него с жалостью.

— Дедушка, тебя сильно мучили? — спросила она.

Они выбрались из лагеря на пустой, темный берег. Озеро было рядом, но невидимое — лишь изредка вспенивались белые барашки.

— Нет, — ответил Симпэй, блаженно подставляя лицо свежему ветру, по которому сильно соскучился. — Жизнь в мокрой «яме» мне понравилась. Она была нелегка и очень полезна, а значит, хороша вдвойне. Никогда прежде я не оказывался в месте, где так явственно ощутима двоичность мироздания — противоположность земного предела и небесной беспредельности. Ведь мне из этой дыры не было видно ничего, кроме неба. Вот я

все время на него и смотрел. Днем на облака, ночью на звезды. Мне открылось многое, чего я раньше не понимал. Я благодарен карме за этот извив Пути. Надеюсь, ты тоже не скучала?

— Нет, — поежилась Ката-тян. — Я не скучала.

— Хватило ли тебе времени усвоить шестой урок — благо отрешения от земных удовольствий?

— Вот так хватило. — Она провела ребром ладони по горлу.

— Хорошо. Значит, мы можем приступить к седьмой ступени. Она очень трудная. Иногда на ее постижение уходят годы. Но у тебя получится быстро, потому что ты с ранних лет привыкла к одиночеству. Я был таким же, и мне эта наука далась легко. Сиротское детство имеет свои преимущества.

— Урок опять будет грустным? — расстроилась девочка.

— Нет, приятным. Как пятая ступень, когда ты училась радовать свою плоть. Теперь же нужно научиться радовать свой дух, и эта радость несравненно ценнее. Хотя бы потому, что никто и ничто отнять ее у тебя не сможет, а значит, не надо учиться от нее отрешаться.

— Что же это за радость?

Глаза ученицы засветились жадным... нет, не любознанием, а любопытством, подумал Симпэй, но в этом возрасте разница между первым и вторым не столь велика.

— Радость быть наедине с собой.

Сияние в глазах потухло. Ресницы разочарованно захлопали.

— Разве это радость? Я не понимаю...

— Чего ж тут непонятного? Если единственное несомненно живущее на свете существо — ты сама, зна-

чит, важнее и интереснее тебя самой во вселенной ничего нет. Всё главное — а может быть, *вообще всё* — происходит внутри тебя. Вникни в это, и тебе никогда не будет наедине с собой скучно. Ты помнишь время, когда тебя в мире не было?

— Как же я могу такое помнить?

— Значит, ты была всегда. Как только ты начала себя осознавать и помнить, появился мир. Это *его* до тебя не существовало. А когда тебя не станет — *если тебя не станет* — исчезнет и вселенная. Где находишься ты, там и жизнь. А где тебя нет — нет и ее. Вот посмотри вокруг. Что ты видишь?

Ката-тян оглянулась. Меж облаков очень кстати проглянула луна.

— Большое небо... Большое озеро... Большое поле...

— Это ошибочный взгляд. Тебя приучили думать, что мир большой, а ты маленькая. Не верь тому, что тебе говорят другие. Помни про первую ступень: все подвергай сомнению, верь только собственным чувствам и собственным глазам. Закрой-ка один глаз, а вторым посмотри на небо еще раз... Небо занимает собой лишь верхнюю часть того, что ты видишь, верно? Значит, оно всё помещается в половинке твоего глаза. Оно вот такусенькое. — Он сдвинул два пальца. — Это не ты внутри мира, а мир внутри тебя. Ты — больше.

Ученица задумалась. Прищурилась, поглядела на ширь Ладоги, померила ее щепотью.

Он подождал, потом продолжил.

— Есть люди, которые мучают себя, думая про мир, что он жестокий, страшный, некрасивый. Но это они сами делают его таким. Мир таков, каким ты его хочешь видеть. Он — твой. Хочешь, чтобы был краси-

вым — красивый. Добрым — добрый. Всё внутри тебя, всё в твоей воле.

Девочка взялась руками за виски, будто хотела умять свою голову, чтобы в нее побольше втиснулось. Конечно, вместить такое знание непросто.

— ...До сих пор мы с тобой попеременно говорили и молчали. Теперь же, до конца седьмой ступени, будем только молчать. Считай, что меня рядом нет. Ты одна. Научись разговаривать с собой, задавать себе вопросы и получать на них ответы. Святые старцы, достигшие наивысшего Жилья, годами сидят на одном месте и не произносят ни слова. Им никто не нужен, им не нужны внешние события. Им хватает себя... Я тоже хочу побыть наедине с собой. В «яме» я устал от того, что рядом все время другие люди. И устал от учительства. Всё, Ката-тян. Отныне я сам по себе, а ты сама по себе.

Симпэй отвернулся от спутницы, посмотрел, как мерцают под луной черные воды, и улыбнулся, предвкушая пиршество мысленного полета.

Чем бы себя порадовать? О чем бы подумать?

Пожалуй, о том, что всю жизнь волновало князя Голицына, главной радостью которого было записывать разговоры с собой на бумаге. Этого русского конфуцианца больше всего занимало Дао государства, а не Дао личности. Размышлять об идеальном обществе Симпэю было скучновато. Как-то оно мелко, подумал он. Уж если придумывать, так идеальный мир.

Каким должен быть мир, чтобы мне в нем всё понравилось? Согласно Библии, завершив мироздание, Бог иудеев и христиан сказал: «Это хорошо», — но хорошо у Него получилось далеко не всё. А какую бы сделал Землю я, чтоб с ее просторов исчезло всё скверное и безобразное, а осталось лишь хорошее и прекрасное? Чтобы

появиться здесь в следующем рождении, посмотреть вокруг и сказать себе: «Как хорошо я всё придумал!»

И он начал обстоятельно, с удовольствием выстраивать мир по Симпэю.

Пейзажи, так и быть, пусть останутся такими же. Небо, горы, море, реки, леса, поля. С этим в нынешнем мире неплохо. Но летней жары пусть не будет, равно как и зимнего холода. Зимы и лета вообще не нужно. Только весна с цветением сакуры и сливы, а потом сразу осень с красно-золотой листвой. И никакого снега. Это пускай Ката, если хочет, оставляет снег для своего мира, а миру Симпэя белой холодной гадости, спасибо, не нужно.

Он немного пожил на такой чудесной, но пока еще пустой Земле. Стал воображать дальше.

Так. Что с животными?

Мух, комаров, ядовитых змей и прочую зловредную пакость — к *акуме*. Ладно, красивые змеи могут остаться, но чтоб не кусались. Медуз тоже оставлю лишь тех, которые не обжигают. Крыс не надобно, хватит мышей. Неплохо бы придумать новых зверей, каких сейчас нет. Побольше пушистых, толстых, с меховыми ушами и доверчивыми глазами.

И сразу стал изобретать такое животное. Туловище, как у медведя; голова, как у быка, лапы мягкие, щенячьи; круглое барсучье пузо; мех пятнистый, как у леопарда.

Полюбовался на свое творение — рассмеялся.

— Ты что, дедушка? — слышался испуганный голос.

Симпэй вернулся в ночь, на берег Ладожского озера — и увидел, что ночь уже закончилась, и озера тоже не видно, дорога ушла от воды в сторону, вокруг лес.

Лицо у ученицы было исстрадавшееся, брови сдвинуты, губа закушена.

— Не тужься так, — посоветовал он. — Просто слушай себя, следуй за мыслью и воображением.

Небо издало рык. Симпэй посмотрел вверх. Приближалась гроза. Собственно, она уже начиналась.

Из туч вызмеилась молния, ударил гром, от которого вздрогнула земля.

— Видишь? — спокойно сказал учитель. — Ты придумала гром — и всё затряслось. Придумай что-нибудь еще, поинтереснее. И не мешай мне жить в моем мире.

Снова отвернулся, рассеянно смахнув со лба капли — хлынул обильный дождь.

А как быть с человечеством?

Непростой вопрос.

Ладно, пусть люди останутся. Но только в небольшом количестве. Сто, много двести. Чтоб все всех знали и берегли. И чтоб не рождалось таких, кому нравится мучить и подчинять себе других. Никто никогда не будет болеть, и каждый будет жить столько, сколько захочет.

Он принялся заселять Землю людьми, начав с тех, кого когда-то знал и любил. Всем им нашлось место. Потом стал придумывать новых, одного за другим.

Так появился храбрый густобровый Дандзиро, покоритель огненных вулканов и морских глубин.

Потом веселый рыжеволосый Иоганн, распеваящий звонкие песни и изобретательный на потешные шутки.

Златокожая Айеша, немного похожая на ту деву, что Симпэй видел на острове Цейлон, но только не глупо хихикающая, а нежно улыбчивая.

Население Земли из двухсот и даже ста человек — это много. Создатель нового мира увлекся, потерял счет времени и, когда очнулся в следующий раз, день уже клонился к вечеру, гроза давно закончилась, дорога опять прилепилась к озеру.

Симпэй взглянул на ученицу. Она шла с полузакрытыми глазами, что-то сама себе нашептывала.

Чтобы проверить, насколько девочка увлечена внутренней беседой, он нарушил молчание:

— Я хочу рассказать тебе одну удивительную историю.

Раньше Ката немедленно повернулась бы, стала слушать, а сейчас пробормотала:

— Потом, ладно?

— О чем думаешь? — спросил он.

— С батюшкой и матушкой разговариваю.

О ее матушке, рыжей амстердамской шлюхе, и батюшке, замученном в Преображенке юнце, Симпэй девочке никогда не рассказывал. Стало интересно.

— И какие они?

— Матушка очень красивая. Такая красивая, что батюшка ее больше жизни любил. Очи у нее лазоревые, ясные, а на лбу такая же, как у меня, родинка. Батюшка — высокий, статный, первый ерой среди всех стрельцов, самому царю не покорился. Голос у него чистый, руки сильные и смех колокольцем. Я им про свое жите рассказываю. Не мешай, а?

Способная ученица, очень способная, подумал Симпэй.

Молчали они и на следующий день. Чтоб не отвлекаться на встречах, с дороги свернули, шли опушкой леса, не теряя из вида Ладогу. Кормились грибами и ягодами. Оба сонные, задумчивые, каждый в своем чудесном мире.

Симпэй кончил населять Землю людьми (набралось сто семьдесят девять обитателей, один другого лучше), углубился в дальнейшее мирозидательство.

Его увлек сложный предмет, над которым, кажется, еще не задумывался никто из вероучителей. Не скучно ли будет жить в мире, где всё прекрасно, незачем сражаться со Злом и нечего исправлять? Как человеку удовлетворить свою жажду приключений и потребность в развитии?

Ответ нашелся быстро.

А очень просто. Кроме Земли, есть и другие миры. Только надо сообразить, как до них добраться. Он стал размышлять про это, но придумать ничего не успел, потому что вдали на воде показался остров, на нем крепость с пузатыми серыми башнями.

Это был уже Шлиссельбург, где из Ладожского озера вытекает река Нева, стремясь к Санкт-Петербургу и морю.

Славное время мечтаний завершилось. Пора было возвращаться с прекрасной будущей Земли на нынешнюю, непрекрасную.

— Эй! — Симпэй дернул ученицу за рукав. — Очнись. Слишком сильно седьмой ступенью не увлекайся, не то запутаешься в снах и свернешь себе шею.

— Что это? Где мы? — спросила Ката, с удивлением глядя на островную крепость, на реку, на скопище людей и телег. — Тут что, базар?

— Здесь начинается государева дорога на Санкт-Петербург, пускают на нее не всех и не просто так.

— А нас пустят? Ух ты, остров! Острог! Не деревянный, каменный! Что это, а? — затараторила девочка, окончательно приходя в себя. — Гляди, сколько кирпичей! — показала она на одну, другую, третью кирпичную груды. — А строить вроде ничего не строят. Зачем тогда кирпичи?

— Ученик не должен задавать вопросы так быстро и в таком количестве, — терпеливо сказал Симпэй. —

Главное же — не задавать следующий вопрос, не получив ответа на предыдущий.

И стал объяснять, по порядку.

— В новой столице допускается быть не всем. Се город парадный, чистый, красивый, по коему приплывающие из Европы судят обо всей русской державе. Потому нищим оборванцам вроде нас с тобой путь туда заказан, не то европейцы подумают, будто в России есть нищие. Каждый подданный, прибывающий в Санкт-Петербург, должен быть видом опрятен, ликом брит и в немецком платье. Государю угодно, чтобы иностранцы видели русских такими. Однако ж приличного вида для пропуска мало. Ежели человек следует не с казенной бумагой, а по приватной, сиречь частной надобности, должно внести свою лепту в строительство сего небывалого на Руси града.

Симпэй сам не заметил, что перешел со своей обычной манеры говорить на приказную, будто вновь стал санкт-петербургским обывателем Артемием Будановым.

— Когда я покинул столицу, платой за пропуск был саженец липы либо тополя — вдоль наиглавнейших улиц высаживали деревья, по голландскому образцу. Должно быть, уже высадили и придумали нечто иное. Про что еще ты спрашивала?

Вспомнил: про остров.

— Се крепость, стерегущая вход в реку Неву. Шлиссельбург, он же Нотебург, он же Орешек. Тому двенадцать лет, состоя в походной канцелярии его царского величества, я наблюдал здесь впечатляющую картину — как множество душ разом покинули сей мир и отправились дальше по кругу перерождения: храбрые, не свернувшие с Пути Воина — вперед и вверх, малодушные — назад и вниз.

— А? — не поняла Ката.

— Здесь заперлись четыре сотни шведов. Их окружила тридцатикратно бóльшая русская армия, но шведы не подумали сдаться, и пролилось много крови. У нас в Японии уже сто лет никто ни с кем не воюет, и я никогда прежде не видал, как одни воины перед лицом смерти преодолевают свой страх, а другие не могут. Ведь неважно, за что бьется воин, — важно, чтобы он до конца оставался воином...

Он зажмурился, вспоминая незабываемую картину: плывущие сквозь дым лодки с солдатами, вздымающаяся от ядер вода, крики, грохот выстрелов, разлет кровавых тряпок. Определенно на свете живет слишком много людей, если можно так легко и обильно разбрасываться их жизнями...

Кто-то толкнул Симпэя в плечо, и глаза пришлось открыть.

В грудь ему упирался кирпич. Это было удивительно.

Незнакомец с лицом человека, не нашедшего и даже не ищущего Пути, сказал:

— Покупай у меня, татарин. По гривеннику. Дешевле не сыщешь.

— Зачем мне кирпич, уважаемый? — спросил Симпэй, заподозрив, что это странное предложение ему приснилось.

— Ты в Питер? Ныне указ: кто пеший — неси на государево строительство по кирпичу, конный — по два, а с воза или телеги — по четыре. Иначе застава не пропустит.

Торговец кирпичами показал вдаль, где дорогу перекрывал черно-белый шлагбаум.

— Вас двое — значит, двадцать копеечек. Берете али как?

В разговор вступила Ката.

— Гривенник за кирпич? Креста на тебе нет! У нас на Пинеге церковь клали, так кирпичи были по полтине воз!

Мужик засмеялся.

— Так ступай в Волхов, где кирпичный завод. Купи там задешево. Восемьдесят верст в одну сторону, да столько ж обратно. — И махнул рукой. — А что с вами, нищетой, толковать. Вашего брата всё одно не пропустят.

И пошел дальше, покрикивая:

— Кому кирпич легкий, бурой глины! Кому кирпич легкий, бурой глины!

Таких предприимчивых вокруг было порядком. Одни торговали прямо с телег, другие выгрузились на землю. Коммерция шла бойко — в столицу нужно было многим.

Человек в хорошем кафтане синего сукна, стриженный в кружок, по-русски, но со свежееобритым лицом, стоял перед кирпичной грудой, ругался.

— И всё-то у нас так! Нужно государю стольный город строить — понятно. Поставили казенный кирпичный завод в Волхове, где глины хорошие. Ладно. Лепи, вези, строй. Так нет же, везти не везут, а своим людишкам на перепродажу отдают! На всём нужно уворовать! По десяти копеек кирпич, это сколько ж они на каждой телеге берут? Рубля по три, по четыре? Шутка ли? Я на честной торговле столько не выручу.

И показал на воз с бочками.

— Что у тебя за товар, уважаемый? — спросил Симпэй.

— Пиво варю. С Горголы я. У нас там ручьи сладкие, нигде таких нет. Вожу в Питер, отдаю кабатчикам по шестьдесят копеек бочка. Прошлый месяц ехал — караульным на заставе гривенничком поклонился за



недокуку, и весь расход. А ныне плати сорок копеек за четыре кирпича. Ох, денег жалко...

Пошел себе дальше.

— А ты, дедушка, все наши деньги выкинул, — укорила Ката. — Не на что два кирпича купить. Одеты опять же хуже пугал огородных. Что делать-то будем?

— Я про это заранее не думал. Путь сам подскажет. Придет *сатори*, озарение, и всё само разрешится. — Симпэй сел в сторонке, уперся руками в колени. — Нужно лишь терпение и правильный настрой души.

— Ладно, ты посиди пока, — молвила ученица, морща лоб с родинкой. — Попробую-ка я вот что...

Побежала за пивоваром, а Симпэй стал ждать *сатори*. Глаза закрыл, но нет-нет, да поглядывал — что это такое вздумала попробовать Ката-тян?

Девочка ходила за синим кафтаном, что-то ему втолковывала. Кафтан сначала от нее отмахивался, гнал. Потом остановился, стал слушать. Поспрашивал о чем-то, почесал затылок, кивнул. Вдвоем они подошли к ближней телеге с кирпичом.

Симпэю стало любопытно, а любопытство — не то душевное состояние, в котором к человеку может прийти *сатори*. Потому встал, подошел.

— ...Весь день прстоишь тут, а то и два иль три, по десяти копеек-то продавать, — говорила Ката кирпичному торговцу. — А мы у тя всё разом по восьми копеек возьмем. И поедешь себе. Хошь — гуляй, хошь новые кирпичи вези. Деньги-то вот они.

Пивовар позвенел серебром.

— А нет — другому предложим, — сказала Ката.

Торг завершился быстро. Ударили по рукам.

— Эй, татарин, разгружай! — обернулся на Симпэя пивовар.

Девочка же высоко подняла кирпич и закричала:

— Люди добрые, а вот кому по девяти копеечек! Себе в убыток отдаем! Налетай, пока не кончились!

— Зачем ты это делаешь? — в недоумении спросил у нее Симпэй.

— Купец нас за то в подорожную впишет и одёжу даст, — шепнула она. — Попадем в город вместе с пивом.

— Я же говорил: *сатори* придет само, вот оно и пришло, — довольно кивнул Симпэй, подумав, что у такой ученицы, пожалуй, есть чему поучиться.

Пивовар постоял, поглядел, как живо расторговывается Ката, пошептался с ней еще.

— Давай, татарин, продавай, — сказал он Симпэю и повел девочку к другой кирпичной куче.

Там, должно быть, произошел такой же разговор. Ударили по рукам, пересчитали кирпичи, расплатились.

Продажа пошла сразу в двух местах.

Остальные торговцы заволновались, но скидывать цену жадничали, потому к вечеру у Симпэя и его ученицы весь товар ушел.

Купец (его звали Филяй) подсчитывал барыш и радовался.

— Шесть рублей сорок семь копеечек! Больше, чем от пива, вышло бы! — радовался он. — Тароватый ты парень, Катка! Что за имя такое? Катасон, что ль? И ты дед ничего, старательный. Поступайте ко мне приказчиками! И вот что. Заночуем тут, пиво в город отвезем — и покатым на порожней телеге в Волхов. Суну там кому надо, возьму кирпичей задешево, продадим здесь задорого.

Он уже не помнил, как давеча ругал заводских воров. Человек, не имеющий твердых правил, подобен траве, думал Симпэй. Куда дует ветер, туда он и клонится, не помышляя об улучшении своей кармы.

— Мать такая-рассякая-да-разэтакая! — вдруг замысловато выбранился Филяй и присел, прячась за свои бочки. — Михель Немец!

К обширному торгу подъезжал высокий крепкий воз, уставленный одинаковыми ладными бочонками. Правил краснолицый мужик с трубкой в зубах, в сдвинутой набекрень кожаной шапке.

— Наш это, горгольский! Тоже пиво варит. Вишь, и он в Питер собрался. Черт его принес! Всю цену мне собьет, а пиво у него крепче и ядреней.

И зашипел, затолкал своих новых приказчиков кулаком.

— Неча расслаивать! И ночевать тут не будем. Глядите, немецкая морда уже к кирпичам приценивается. Знать, поедет без остановки. Нам надо к заставе раньше него поспеть. Одевайтесь в мою сменную одежду, свое дранье под бочки суньте. А я вас пока в подорожную впишу. Катка, у тебя отеческое имя какое?

— Не знаю... — ответила Ката.

— Ладно, пишу «Катасон Незнамов». А тебя, татарин, как?

— Будаев, — немного подумав, сказал Симпэй. — Пиши: «Симпэй Будаев сын».

Они с Катой оделись просто, но чисто — как есть приказчики. Филяевы порты обоим были велики, но ничего, перепоясались веревкой. Негустую свою бородку Симпэй соскреб острым ножом уже в телеге, сидя на бочке.

Филяев соперник появился очень кстати, довольно думал он. Завтра будем уже в Санкт-Петербурге, а там только бумаги справить, найти корабль до Амстердама, и домой, домой... Через столько лет вновь увидеть родные края! А главное — доставить домой Орехового Будду.

Он посмотрел на Катку, верней на нитку, свисавшую у нее с шеи.

Девочка поймала взгляд и поняла, к чему он. Украдкой вытянула маленькую фигурку, бережно положила на ладонь, показала: здесь она, здесь. Симпэй улыбнулся.

У шлагбаума Филяй пошептался с капралом. Служивый слушал, поглядывая на медленно приближающийся воз Михеля Немца.

Сказал:

— Сейчас скажу поручику, что вы досмотрены. Ныне у нас порядок такой: пока начальник не велел, рогатку не подымать. Проедете — пожди с той стороны. После подойдешь, расплатишься.

Пошел в караульню. Вернулся с позевывающим офицером, от которого издали несло винным духом.

— ...а везут они пиво, согласно указу. Бумага есть, я проверил, — говорил капрал. — Пропускаем?

Поручик лениво глянул на Филяя, потом внимательнее на нерусское лицо Симпэя, на Катины конопушки и зевать перестал.

— Бумагу покажь.

Филяй сдернул шапку, в которой подорожная. С поклоном поднес.

Офицер, нахмурившись, глядел в нее, и Симпэю стало тревожно. Ну как увидит, что приказчики свежевписаны? Оно, конечно, закон не возбраняет купчине нанимать работников когда и где он пожелает, хоть бы прямо перед заставой, но казенные люди на Руси опасны и непредсказуемы, ибо у каждого мелкого служителя много власти и, ежели человеку скучно, либо похмельно, либо он вдруг почуял наживу, жди беды.

Но обошлось.

Поручик вернул подорожную и махнул «поднимай», сам вернулся в караульню.

— Митька! — донеслось оттуда. — Седлай, в город поскачешь, с реляцией. Возьмешь в лавке четверть зеленого!

Стало быть, дорожный начальник нашел более отрадное средство от похмелья, чем цепляться к проезжающим.



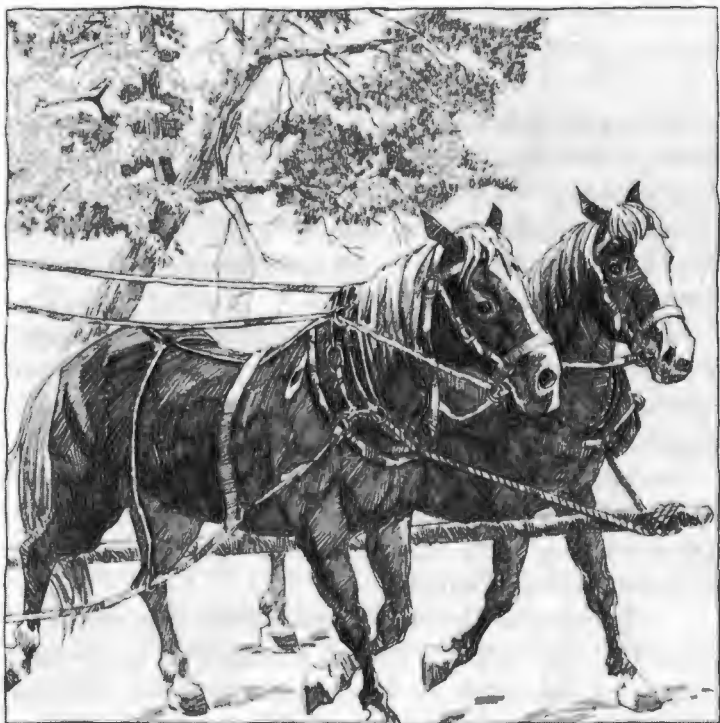
Отъехали на телеге с пивом совсем недалеко и встали.

— Ну-ка, поглядим, как солдат трехалтынный заработает, — сказал Филяй, ухмыляясь.

У заставы остановился немецкий воз. Михель слез, поклонился капралу, предъявил четыре кирпича, вручил бумагу.

Служивый, едва глянув, что-то буркнул, бросил по дорожную наземь. Филяй тихонько засмеялся.

Немец поднял, начал размахивать руками. Тогда капрал с размаху двинул спорящего с властью не-



вежу кулаком по скуле — кожаная шапка слетела. Бумагу солдат разорвал, пивовару двинул еще раз, а когда тот в ужасе повернулся бежать, еще и дал пинка.

— То-то, — довольно молвил Филяй. — Умей жить по-нашему. Это тебе, дураку, не пиво варить. Знай русский порядок. У нас правда завсегда кривая. Кривота — она дураку беда, а умному выгода... Сейчас заплачу капралу, и поедем.

Не постигший русского порядка Михель сидел на своем возу и горько плакал.

...Скоро тронулись в путь по пустой предвечерней дороге, вдоль реки Невы, неторопливо несущей свою серую воду в море, по которому можно уплыть куда угодно, хоть на край света. А верней, воротиться с края света домой, в середину мира, поправился Симпэй, потому что пора было вставать с головы на ноги. Долгое и длинное странствие за тридевять земель и тридесять морей еще не закончилось, но уже развернуло Путника лицом к дому.

Купец всё хвастался своей ловкостью, да нахваливал отечество, но Симпэй не слушал. Витала где-то на просторах седьмой ступени и Ката-тян, ее взгляд был отрешенно-мечтателен.

Ехали так часа полтора или, может, два. Тени вытянулись, потом пропали. Солнце сползло за кромку дальнего леса, Нева потемнела, померкло небо, однако до ночи было еще далеко.

— Докатим до Почтовой, там переночуем, утром будем в Питере, — сказал Филяй и оглянулся на конский топот. — Ишь, летит. Не иначе царский гонец. Они шагом не ездят, только вскачь.

Кто-то мчал бешеным галопом — сзади тянулся пыльный хвост. От пыли всадник и лошадь казались серыми. Вблизи стало видно, что лицо верхового защищено платком — над ним щурились глаза.

На всякий случай Филяй сдернул перед пыльным человеком шапку, тем более что тот натянул поводья и вскинул коня, заставив остановиться. Должно быть, хотел что-то спросить.

Но не спросил, а выпростал из-под плаща руку. В руке был большой двухствольный пистолет. Из дула сверкнуло пламя.

У Филяя дернулась пробитая пулей голова, будто попыталась соскочить с плеч. Увлекла за собою тело, оно рухнуло с облучка на дорогу.

Ката вскрикнула, а Симпэй спрыгнул на землю, еще не поняв, как толковать столь неожиданный изгиб Пути.

Загадка, однако, объяснилась. Хоть сразу же обросла новыми загадками.

Всадник сдернул с лица платок и оказался фискалом Ванейкиным, непонятно откуда взявшимся (не из огненного же христианского *дзигоку*!) и непонятно зачем убившим несчастного купчишку.

Верхняя половина лица у фискала была серая, нижняя желтая, с белым оскалом зубов.

— Так и есть! — воскликнул Ванейкин счастливым голосом. — Это вы! Дождался!

Пистолет, в котором оставалась еще одна пуля, был уставлен в грудь Симпэю.

— Не убивай дедушку! — закричала Ката-тян. — Я отдам! Отдам!

Она раскрыла мешок, вынула книжку мертвого князя, протянула.

Фискал легко перекинул ногу через лошадиную холку, спрыгнул. Смотрел он не на книгу, а на раскрытый ворот Катиной рубахи.

— Вот, бери. Только не стреляй!

Оживший мертвец выдернул из ее руки томик и швырнул в реку. Движение было небрежное, сделанное безо всякого усилия, но книга отлетела далеко, на добрые полсотни шагов и с плеском ушла в воду. Погибла голицынская премудрость, мелькнуло в голове у Симпэя. Нескоро теперь на Руси устроится гражданское житье, неоткуда будет научиться.

Мысль мелькнула и тут же унеслась. Потому что фискал Ванейкин посмотрел Симпэю в глаза и с усмешкой сказал:

— С коня я сошел, так что свист *хисодзугуэ* мне не страшен. Никакой угрозы для Курумibuцу от меня нет, а значит, исключение из «Канона о ненасилии» тут неприменимо. Ты бессилен, Симпэй. Сначала я убью эту дьявольскую девку, а потом тебя. Твой Путь закончен.

Сказано это было по-японски.





ХАМАМАТИ СИНЭЯРО

Жизнь у всех начинается по-разному — если, конечно, считать тех, кто вообще живет, а не бессмысленно хлопает глазами, дожидаясь смерти. Девяносто девять человек из ста рождаются лишь физически, их дух так и остается непробудившимся. Они ходят, едят, плодят потомство, смеются, плачут, испытывают какие-то чувства, но совершенно ничем не отличаются от животных.

Был когда-то таким и Синэяро. Его второе, настоящее рождение, от которого и следует считать настоящую жизнь, произошло почти четыре *дзюниси* назад, зимним вечером, на берегу грязной речушки в прибрежном квартале Нагасаки.

Десятилетний уличный воришка по имени Дзимбэй залез в широкий рукав кимоно к толстому, сонному бонзе, потому что опытным глазом угадал там покачивание кошелька. Вдруг бонза неожиданно быстрым движением схватил проныру за ворот. Мальчишка укусил мягкую, но сильную кисть в самое болезненное ме-



сто, в костяшки пальцев, но монах не закричал, а хихикнул. Взял паренька за тонкую шею и легко оторвал от земли. Повертел так и сяк, словно котенка, разглядывая.

— Ты что за чудо такое? Глаза круглые и нос, как у каппы.

«Каппой», носатым круглоглазым водяным чертом, Дзимбэя обзывали часто. Его отцом был неизвестный южный варвар с островка Дэдзима, матерью — глупая портовая шлюха, сдуру нагулявшая брюхо. Она давным-давно сдохла, туда ей и дорога. Дзимбэй вырос на улице. За «каппу» он всегда дрался и сейчас тоже лягнул толстяка в пах, со всей силы, но бонза опять только засмеялся.

— Злющий, чертенок. Тебя как звать?

— *Синэ, яро!* (Сдохни, сука!) — просипел полузадушенный Дзимбэй, поняв, что попался крепко и что судьба ему висеть на Поганом Болоте, где распинают пойманных воров.

— Хорошее имя. Что-то в тебе есть, — сказал бонза, оглядываясь вокруг, будто только что спустился с неба на землю. — Это что тут у нас? Квартал Хамаматти? Буду звать тебя «Хамаматти Синэяро».

Взял дрыгающего ногами сорванца под мышку, будто куль с рисом. Понес.

Так Синэяро встретился с Учителем и пробудился к настоящей жизни. А правильнее сказать, попал из скучного, бессмысленного сна в сон осмысленный и интересный.

Всему, что он знал и умел, юношу обучили в храме Коосин-дзи, принадлежащем к великой школе Мансэй, которая единственная из всех течений буддизма учит человека жить без страхов и самоослеплений. Учит Истине.

Представления других учений о Добре и Зле мутны и ошибочны. Всё очень просто. Добро — быть сильным; Зло — быть слабым. Хорошее — то, что делает тебя сильнее. Плохое — что делает слабее. Глупцы из ложного ответвления Мансэй-ха извращают суть заветов Первоучителя. Он открыл, что всё на свете — плод твоего воображения. Но если так, то тобою же придуманы и все чужие жизни, а может ли иметь какую-то ценность придуманное?

На этот вопрос школа Коосин отвечает: да, если чужая жизнь помогает тебе на твоём Пути, то есть делает

тебя сильнее. А все химеры, отнимающие у тебя силу — любовь, жалость, сострадание, — вредны и от них надо избавляться.

— Поэтому у меня нет семьи и нет детей, — говорил юному Синэяро Учитель. — Только ученики. Я учу вас быть сильными. Каждый удачный ученик — еще один шаг на моем Пути.

Храм школы находился в Нагасаки и назывался Домом Пустоты, потому что моления в нем возносились Алтарю Пустоты — совершенно пустой нише, которую однажды займет Курумибуцу-сама.

Реликвией владели беззубые извратители великого учения, обманом захватившие Орехового Будду и украсившие им свой храм в Хирадо. Это и хорошо. Пустота порождает голод, а голод придает сил. Сытый никогда не совершит деяний, на которые способен голодный.

Тысячу лет служители школы ждали дня, когда Курумибуцу попадет в свой истинный дом. Пророчества мудрых старцев Коосин-дзи предвещали, что в великий день, когда святыня перейдет из слабых, лживых рук в сильные и правдивые, изменится Великий Баланс мировых сил. Но о том, когда это произойдет — может быть, еще через тысячу лет, — пророчества умалчивали.

Когда Синэяро сравнялось двадцать лет, Учитель отвел его к отцу Настоятелю и сказал: «Он силен и храбр, он прошел два этажа знаний и готов к третьему. Каким Путем ему идти?».

Оторвавшись от свитка со старинными письменами, Преподобный мельком взглянул на юнца.

— Его Путь написан на его уродливом лице.

И снова сгорбился над своим чтением. Отец Настоятель говорил мало и никогда ничего не объяснял: понимающие поймут, а непонятливым незачем.

Несколько дней Учитель размышлял над смыслом этих слов. Потом вызвал к себе ученика и сказал:

— Отец Настоятель мудр. Ты не похож на японца, ты похож на южных варваров. Они богаты и полезны своими знаниями о внешнем мире, для нас закрытом. На островке Дэдзима, где живут варвары, у нас никого нет, и это упущение. Ты будешь жить среди соотечественников твоего отца. Стань среди них своим, но оставайся нашим.

Так определился Путь монаха Хамамати. Он не роптал, потому что жалость к себе — зло, слабость. Стиснул зубы, укрепил дух и отправился жить на крошечный остров, к чужим, невежественным недолжкам, чтобы сделаться таким же, как они. Тяжелая доля.

Юный Синэяро поступил в факторию Ост-Индской компании слугой. Выучил голландский язык, тайно принял христианство (за такое японский закон карал смертью). Островитяне стали звать туземца Маартеном. Он был расторопен, честен, смышлен, исполнитель. Обучился бухгалтерии, стал помощником у фактора Ханса Ван Эйкена, который привязался к молодому человеку, а перед смертью, по завещанию, усыновил его. Так Маартен без фамилии стал Маартеном Ван Эйкеном. Из Голландии приезжали новые люди, старые уезжали. За двадцать лет население островка раз пять или шесть переменялось, и Синэяро стал главным старожилом. Все забыли, что когда-то херр Ван Эйкен был японцем. Он считался ценнейшим и незаменимым сотрудником фактории, потому что единственный владел трудным местным языком, и никто уже не помнил, как это получилось.

Но раз в неделю, ночью, Маартен Ван Эйкен тайком перелезал через стену, вплавь добирался до берега и вновь становился монахом Хамамат Синэяро.

До рассвета он оставался среди своих, *настоящих* своих. Докладывал о событиях в фактории, отдыхал духом, напивался силой и делал упражнения, необходимые для того, чтобы не растерять навыки боя.

Он думал, что таков будет весь его Путь: быть собой по несколько часов в неделю, а всё остальное время существовать в странном, неприятном сне, тайным пришельцем среди обитателей другого мира.

Но карма готовила для Синэяро иное, величественное предназначение. Его верность и сила были вознаграждены — и так щедро, что Путь озарился ослепительным сиянием.

Однажды ночью приплывшего с Дэдзимы лазутчика провели прямо к преподобному. Это, конечно, был другой настоятель — тот, молчаливый, давно ушел к Будде. Нынешнему едва перевалило за пятьдесят, над свитками он не сидел, двигался быстро и говорил много.

— Произошло то, чего мы ждали тысячу лет, — сказал преподобный, сияя счастливой улыбкой. — Не знаю, чем именно я, сорок девятый настоятель Коосиндзи, заслужил такую награду, но именно в мое правление Ореховый Будда может попасть в свой истинный дом. А ты, Хамамат, можешь стать рукой, которая исполнит это великое дело!

Он рассказал, что хирадские слабаки надоели Будде, и он их покинул. Блюститель алтаря Семи Покровов, раб слабости, выкрал реликвию. Это случилось

еще месяц назад, но стало известно только сейчас, потому что извратители скрывают пропажу. Однако у Коосин-ха там тоже есть соглядатай, Путь которого еще труднее, чем служба у южных варваров, потому что этот мужественный брат вырывается к своим не каждую неделю, а лишь раз в месяц. Он и сообщил великую новость.

Тайное расследование выявило, что вор отдал Орехового Будду в единственное место, куда нет хода японцам, — на остров Дэдзима. Не вездесущая ли карма поместила туда монаха Синэяро еще двадцать лет назад?! Он — единственный, кто может, кто должен найти святыню и доставить ее в Коосин-дзи, во исполнение великих пророчеств!

Хамаматти слушал, утирая слезы, и думал: «Какой прекрасный сон, я не хочу от него пробуждаться!»

В последующие месяцы он искал Орехового Будду по всей Дэдземе. Не спал ни одной ночи. Незаметно и беззвучно обыскивал каждый дюйм, заглянул под каждую доску пола, обполз каждый ярд двора, простучал все стены, прощупал пальцами швы и подкладки всей одежды, какая только была на острове, перерыл все хранилища и склады.

Реликвии нигде не было.

Но однажды Синэяро подслушал тихий разговор между опперхофтом Де Восом и херром Мангусом, главным бухгалтером и контролером Компании. Тут-то и стало ясно, почему раньше срока вернулся на родину вице-директор Ван Ауторн. Курумибуцу отправился в Голландию!

В ту же ночь Синэяро доложил об этом преподобному и получил благословление на дальнюю дорогу.

— Значит, при мне Курумibuцу-сама в храм Коосиндзи, скорее всего, не вернется, — грустно молвил отец Настоятель. — Я никогда никому не завидовал, а тебе завидую. Твой Путь будет долгим и трудным, он может занять годы, но ты полетишь, как стрела в мишень, и попадешь в нее. Это великое счастье. Лети, Синэяро, и не промахнись.

Стрела сорвалась с тетивы не сразу. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем незаменимого херра Ван Эйкена наконец отпустили в Голландию. Еще полгода корабль Ост-Индской компании плыл на другой конец мира, в несусветно далекую страну, которую Синэяро так сильно ненавидел.

Сойдя на берег в Амстердаме, он в первую же ночь наведалься в дом бывшего *фицеоптерхофта*. Прокрался в спальню, где Ван Ауторн мирно почивал рядом с супругой. Женщину Синэяро убил сразу, чтоб не мешала. Потом разбудил Ван Ауторна, обездвижил его точным ударом в парализующую точку и некоторое время помучил, чтобы сделать разговорчивым. Кричать голландец не мог, только кряхтел и обливался слезами.

Прежде чем вернуть ему способность двигаться и говорить, Синэяро сказал:

— Считай, что это предсмертная исповедь. Хочешь умереть легко — ничего не утаивай. Я умею читать правду по глазам. Меня учили.

Ван Ауторн рассказал всё, что знал. Он был слишком труслив, чтобы врать. И Синэяро выполнил свое

обещание — прекратил эту более ненужную жизнь одним ударом.

Значит, реликвию украла блудница, которую зовут Марта Крюйткамер.

Значит, здесь уже побывал японец, несомненно кто-то из хранителей Мансэй-дзи. И про Марту он тоже знает.

Имя шлюхи звучало многообещающе. Она — Марта, он — Маартен. Улыбка кармы. Встревожил только неизвестный хранитель. Это препятствие посерьезней всех голландцев вместе взятых. Хранители храма Мансэй-дзи свое дело знают, у них тысяча лет опыта. Но у Синэяро было преимущество. Хранитель и не догадывается, что здесь, в тысячах *ри* от Японии, по тому же следу движется путник из Школы Твердого Сердца.

Воровку со странным прозвищем Синэяро не нашел, но скоро отыскал ее подружку, тоже шлюху, по имени Фимке. Оказалось, что хранитель у нее уже побывал, с месяц назад, в декабре. Убивать толстуху было незачем, за гульден она всё охотно рассказала и показала полученное письмо, но Хамаматэ тем не менее сломал ей шею. Пользы от продолжения этой жизни ему теперь никакой не было, а вред произойти мог. Если бы монах школы Мансэй-ха не был слабаком и слюнтяем, он убил бы эту Фимке, и Синэяро никогда не узнал бы, что Курумибуцу отправился в Московию.

Конечно же, хранитель последовал за Буддой. Нанимаясь на царскую службу у русского комиссара, Синэяро сразу это выяснил. Узнал он и на какое имя выписан пропуск: корабельного боцмана Тимма Япанера, а жалованья ему обещано сто рублей в год с кормом.

Приказчика Ост-Индской компании, первого на весь мир купеческого товарищества, комиссар оценил дороже: посулил чин коммерциенрата на четырехстах рублях с дровами, которые в Московии из-за зимних холодов дороги.

Из Маартена Ван Эйкена он превратился в служилого иноземца Мартына Ванейкина и весною был уже в Москве. Пользоваться дровяным жалованьем не собирался, так как думал не застревать в северной стране до следующих холодов...

Хээ, если посчитать, сколько дерева было сожжено в печах с тех пор, наверное, хватило бы выстроить целый русский город.

Хранителя-то Синэяро отыскал быстро, приезжему японцу в московском царстве затеряться трудненько. Тот теперь звался Артемием Будановым и служил не матросом — толмачом. Но голландская жена опального царского денщика Трехглазова бесследно сгинула. Исчез вместе с ней и Курумибуцу. Где их искать — неведомо.

Должно быть, Буданов что-то про это знал. Следя за ним, Синэяро видел, как толмач что-то вынюхивает, повсюду шныряет, но только и у хранителя ничего не получалось.

Другой зацепки, однако, не было — только издали зорко наблюдать за действиями ни о чем не подозревающего соперника.

Выучив местный язык и присмотревшись к устройству русского государства, Синэяро понял, что коммерцией здесь заниматься не нужно, а нужно сделаться одним из преображенных *мэцукэ*, потому что в этой державе настоящая сила у царских ищеек. С навыками

монаха школы Коосин-ха преуспеть на этой службе было легко.

Трудней всего было устроить так, чтобы дотошного розыскальщика Ванейкина не усылали из Москвы. Нельзя было ему оставлять хранителя без присмотра. Оттого-то, числясь у начальства среди первых нюхачей, Мартын Ванейкин больших чинов не выслужил. А и на что они Путнику? Когда посольских толмачей отправили в новую столицу, он и вовсе перевелся в Санкт-Петербургское филерское ведомство с понижением, потому что Преображенский первое время оставался в Москве.

Сколько раз за эти бесконечные годы падал духом — не счесть. Очень хотелось вернуться домой. Ореховый Будда покинул Японию навсегда, это же ясно. Он не достался секте Коосин, но не вернется и к своим лжепоследователям. Настоятелю — наверняка уже новому — это будет утешением.

Но то был голос слабости.

Что, если вернешься в Японию, а через какое-то время, может быть, годы спустя, объявится Буданов и привезет своим найденную реликвию? Не покидает же он Россию — значит, на что-то надеется?

На самом деле упорство Буданова и удерживало притомившегося Путника в чужой холодной стране. Не мог монах Школы Твердого Сердца оказаться слабее!

В конечном итоге сила всегда вознаграждается, а сильный оказывается победителем.

Однажды среди приказного люда — все в Санкт-Петербурге друг друга знали — пронесся слух, что тол-

мач Артемий Буданов пропал невесть куда. Подумали, замерз где-нибудь в сугробе спяну, такое бывало. Но Синэяро догадался: хранитель взял след.

Стал расспрашивать — узнал, что накануне пропавший толмачил в допросной избе.

Сел с дознавателем Гололобовым, который был там с Будановым, припугнул. Преображенские — они только против овцы молодцы, а фискальных боятся. Всё выложил Гололобов, пересказал всю ихнюю беседу, слово в слово.

И затрясся Синэяро, услышав про огненно-рыжую покойницу и новорожденного младенца с орехом на шее.

Так вот куда отправился хранитель! Искать старца Авенира!

Служителю фискального ведомства искать иголку в сене легче, чем беглому толмачу, сказал себе Синэяро. И не пустился по следу Буданова, а решил опередить его, найти раскольничьего «кормщика» раньше.

Фискалова служба чем лучше преображенской? Те — будто охотничьи псы. Когда надо затравить зайчишку, загнать волка, задрать медведя, хозяин спускает преображенских с поводка: вон добыча, взять! И они несутся к цели. Не то фискалы. Эти задуманы иначе. Они как охотничьи соколы, которых подбрасывают в небо, чтоб летали на вольном крыле где хотят, выискивали поживу сами и, если углядят, сами же решали, когда на нее ринуться. В государевом указе о фискалах им предписано изыскивать всё, «что во вред государственному интересу быть может, каково б оное имени ни было». Как в сказке: поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Но принеси.

И Мартын Ванейкин приносил. Обнаруживал и кривды, и каверзы, и разные казенные кражи, за что от главного фискала Нестерова ему доверие было, а догляда не было. Хоть на несколько месяцев исчезни, начальник будет знать: Ванейкин где-то роет и вернется с добычей.

Поэтому никакого позволения спрашивать он не стал, а собственным хотением разослал всем провинциал-фискалам письмо с запросом: не объявлялся ли где раскольничий «кормщик» именем Авенир, пятнадцать лет назад уводивший стрельчих из Москвы, а лет тому Авениру, коли жив, по преображенским допросным сказкам, пятьдесят иль шестьдесят, ростом высок, сложением тощ, власом бел, гласом шепеляв, а зубов у него во рту только один иль меньше.

Разослав письмо, Синэяро злорадно думал про хранителя: побегай по Руси в одиночку, поищи ветра в поле. Сколь изобретателен и ловок ни будь один человек, а государственный невод всегда ухватистей. Царь Петр тем и велик, что понял эту истину: решил превратить расхристанную, беспорядочную страну в стройный *бакуфу*, как это сделал сто лет назад в Японии великий Иэясу. Конечно, России еще далеко до японского порядка. Там от самого сияющего верха до самого глухого низа расходятся лучи государственного присмотра, вплоть до каждого пятидворья, за которым бдит свой наблюдатель. Однако ж и русские учатся, стараются.

Так-то оно так, но премудрый фискал Ванейкин не учел одной русской особенности, с которой ничего не мог поделать и сам царь. Столичные приказы понизу схватывались рьяно, да выполнялись бестолково. Всякий местный начальник думал не о том, как лучше

справить дело, а как бы не получить по шапке и как бы заслужить награду. Страха и алчности у российских казенных людей много больше, чем ума. И главное правило такое: поскорей доложи наверх об исполнении.

Потому из всех десяти губерний в Санкт-Петербург пришли бодрые донесения, что «кормщик» сыскан, а некоторые особенно усердные доложили, что он уже и взят — даже в тех краях, где раскольников отродясь не водилось. Нет, это был совсем не сёгунат.

Ванейкин стал слать новые письма. На них приходили ответы, опять требовавшие уточнения. А страна широкая, дороги плохие. На них то зимняя стужа, то весенняя распутица. Лишь к маю месяцу вызналось, что старец, соответствующий всем приметам, живет со своей общиной в двух сотнях верст от Архангельска, в селении Сояла.

Туда Синэяро и бросился, взяв с собой двух толковых солдат из Преображенского приказа и запасясь крепкой грамотой, способной вогнать в страх любого провинциального начальника.

Опоздал. И понял это не сразу. Сначала думал: невезение, капризы кармы, испытывающей Путника.

В Сояле узнал от Авенира, что младенец жив, звать Катериной. На шее у девки и поныне ореховый оберег, а сама девка недалеко, в Пинеге, на подворье у ссыльного Василья Голицына.

Так обрадовался, что даже забыл о Первом правиле Второго этажа: «Для монаха, идущего Путем Твердого Сердца, нет ни радости, ни горя, ибо и то и другое — слабость».

И когда, уже убив старого князя ударом кулака в сердце и почти схватив девчонку, умудрился ее упустить, решил, что это наказание за радость.

Ну да ничего, куда денется полевая мышь от зоркого сокола?

Но неудача следовала за неудачей, и причину он понял, лишь услышав про «косоглазого татарина», которого видели с беглянкой.

Тут-то фискалу и открылась главная русская заковыка. В этой нескладной стране ушлый рыбак с удочкой бывает уловистей государственного невода, ибо тот велик, да дыряв.

Курумибуцу ускользнул и в Пинеге, и в Сояле, и в Сийском монастыре.

В Каргополе на реке потопли солдаты, оглушенные свистом *хисодзуэ*, и чуть не утонул сам Синэяро, сброшенный обезумевшей лошадей и сильно ударившийся о понтон.

После этого ужасного поражения наступило тяжелое время, когда Путнику казалось, что он окончательно сбился с дороги. Даже появилось искушение лишиться себя жизни, ибо лучше родиться заново, чем блуждать во мраке.

Но Синэяро не поддавался слабости.

Они идут в столицу, сказал он себе. Хранитель хочет сесть на корабль и уплыть в Амстердам, а оттуда — в Японию. Это ясно. Фискала Ванейкина они теперь не боятся — думают, что он утонул. Самая короткая дорога в Санкт-Петербург лежит через Шлиссельбургскую заставу. Там их перехватить легче всего.

И поскакал в Шлиссельбург, и дал караульным начальникам все нужные указания, а сам стал ждать.

Но шли недели, месяцы, а хранитель с девчонкой всё не появлялись. Мир потемнел, земля и небо казались Путнику черными. Но он продолжал торчать в проклятом Шлиссельбурге, уже ни на что не надеясь, а просто не зная, куда и зачем идти.

Каждый вечер, после нового пустого дня, Синэяро брал кинжал, приставлял его к горлу (монахи Коосин-ха не самураи, они не взрезают живота, а возвращают космосу свое дыхание) — и прислушивался к внутреннему голосу: пора или подождать еще?

«Жди, мучайся», отвечал голос, и Путник с сожалением прятал клинок в ножны.

Это было очень тяжелое, долгое испытание, но Синэяро его выдержал.

И однажды небо посветлело, и тьма рассеялась. Оказалось, что ни с какого Пути он не сбился. Терпение и сила духа превозмогли.

Глядя в вытаращенные глаза хранителя (он, должно быть, удивлялся такому поразительному сну), Синэяро продолжил на родном языке, которым уже столько лет не пользовался:

— Как ты понимаешь, Ореховому Будде я зла не сделаю. А чтобы справиться с тобой, это трусливое оружие мне не понадобится. — Он швырнул пистолет на землю. — Никакое оружие не понадобится. Потому что у вас, беззубых, Канон Ненасилия. И хоть ты — хранитель и обучен искусству боя много лучше меня, против Твердого Сердца ты бессилен. Я буду убивать тебя, а ты только замычишь, как вол, которого грызет волк.

Он шагнул вперед и ударил хранителя по щеке — как бьют нашкодившего ребенка. Не сильно, но звонко.



Девчонка закричала, повисла у него на запястье:

— Не бей Учителя!

Синяро стряхнул ее, как соринку.

Ему сейчас было очень хорошо. Кажется, ради этих мгновений он и прожил всю предыдущую жизнь.

— Я сломаю тебе обе руки и обе ноги. Потом брошу тебя в реку, на мелководье, на глубину в два сажу, и ты не сможешь подняться. Ты захлебнешься там, где не утонул бы и малый ребенок.

Коротким, хрустким ударом он переломил врагу локоть. Рука бессильно свесилась, но лицо хранителя не дрогнуло.

— Вы только и умеете, что безропотно сносить боль, — сказал Синэяро с презрением.

Что-то ударило его по затылку. Обернулся — девчонка с перекошенным яростью лицом снова замахивалась жердиной.

Синэяро взял чертовку ниже подбородка, сдавил двумя пальцами — сомлела.

Он дал ей сползти на землю, и потом бережно, с поклоном, обеими руками, снял с тонкой шеи великую святыню. Почтительно поднес ко лбу, надел на себя.

От невесомой ноши по телу растекалась горячая, трепетная сила.

Дело сделано! Миссия исполнена!

Хамамат Синэяро расхохотался от беспредельного счастья. Но душа просила лакомства. Что ж, заслужила.

На неподвижно застывшего, побежденного врага победитель смотрел с улыбкой предвкушения.

— Знаешь, почему Курумибуцу-сама покинул вас? Думаешь, виноват вор-блудистель? Нет! Будда устал от вашей слюнявой, бессильной доброты. Будда не прощает бессилия. Теперь Он будет с нами. Потому что мы умеем защищать то, что нам дорого. Прежде чем доломать твое тело, я вытру ноги о твой дух. Ты ведь, поди, за время странствий привязался к своей ученице? Наверное, вел ее со ступени на ступень, наставлял, просвещал. Сейчас я проверю, насколько хорошо ты научил ее преодолевать боль. Я сделаю из нее тигра. Знаешь, что такое «сделать тигра»? Это когда с тела лентами срезают кожу и человек весь становится полосатым.

Последние слова он произнес по-русски, чтобы девчонка поняла и завопила от ужаса. Она действительно разинула рот, но крика не было — надавив на точки

силы, Синэяро парализовал тело ниже шеи. Ничего, чувствительность при этом остается.

Хранитель шевелил губами, тоже беззвучно. Сломанная рука висела плетью.

— Молись, молись, учитель слабости, — усмехнулся Синэяро. — А мой Учитель обучал меня силе. И защищал. Однажды он увидел, как меня, одиннадцатилетнего, избивают двое портовых мальчишек, которым не понравилось мое лицо. Учитель выбил им по одному глазу. Пусть знают, что меня трогать нельзя, и расскажут об этом всем. Вот какой у меня был Учитель. А ты — жалкая мокрица.

Он нагнулся, вынул из ботфорта свой острый нож.

Одним движением пальца разорвал на девчонке рубаху и содрал. Кожа на тощем теле пошла пупырышками. Девчонка зажмурилась.

Сзади раздался шорох. Ага, он все-таки зашевелился!

Обернувшись, Хамамат Синэяро увидел последнюю картину своей нынешней инкарнации: стремительно приближающуюся подметку стоптанного башмака.

死



СТУПЕНЬ ПОСЛЕДНЯЯ

Санкт-Петербург

— **У**читель, ты нарушил Канон! — сдавленным голосом просипела Ката, едва ожило задеревеневшее горло. — Это ужасно, да?

— Я нарушил два канона, — молвил Симпэй, скорбно глядя на лежащее тело.

Сама-то Ката на покойника старалась не смотреть. Он и при жизни был куда как страшен, а в смерти сделался того жутчее: посреди лица, где раньше торчал острый нос, теперь багровел провал, и в нем что-то булькало, надувалось пузырями. Бр-р-р.

— Первый, Канон Ненасилия, еще ладно, — горевал Учитель. — Тут я применил первую же ступень: всё подвергай сомнению и изменяй то, что сочтешь нужным. Я подверг Канон сомнению и изменил. Отныне он для меня звучит так: «Насилие допустимо в том случае, если кто-то угрожает Ореховому Будде, за которого ты отвечаешь как Хранитель, и если кто-то угрожает твоему ученику, за которого ты отвечаешь как Учитель». Вернувшись в Храм, устрою на эту тему диспут с уче-

ными старцами. Если мое нововведение не встретит поддержки — что ж, покажусь.

Но далее дедушка стал совсем печален.

— Со вторым каноном, о неумерщвлении живых существ, хуже. Он несомненен и безусловен. Всякий, кто его нарушил, лишается надежды после смерти попасть в Нирвану, даже если в остальном прожил совершенно безупречную жизнь. А я убил этого злого человека, и убил намеренно, ибо знал, что он ни тебя, ни меня в покое не оставит. И теперь мне придется родиться на Земле вновь. Может быть, даже не раз и не два...

И так жалостно он это сказал, что Ката, не выдержав, заплакала.

— Лучше бы ты дал ему меня изрезать на куски, — всхлипнула она. — Сейчас уже был бы в этой, в невране. Да и я, глядишь, за свои муки народилась бы вновь какой-нибудь царевной...

Симпэй с нею вместе лить слезы не стал, а щелкнул ее по лбу. Безмерно удивившись, Ката на него вылупилась, и Учитель безмятежно, будто только что не убивался, молвил:

— А и ничего. Куда нам торопиться? Нетерпение — слабость, а слабость — зло. В этом Ванейкин-сан был прав, хоть их лжеучение трактует понятие слабости превратно.

Он вздохнул.

— И коли мы заговорили о слабости, подними-ка жердину, переломи ее пополам и привяжи к моей руке, чтоб она не болталась. Мне самому это сделать трудно.

Ката охнула, засуетилась и потом, прилаживая дедушкину руку, от сострадания сама вскрикивала, а он ее успокаивал, говорил: пустое.

После велел:

— Взяла Курумибуцу? Теперь давай в три руки спустим в реку покойников. Пусть Нева несет их к морю, как Река Перерождений несет все души в Океан Будды.

Поклонились прощальным темным водам, сели на повозку, поехали по ночной дороге.

— Пока мы добираемся до Санкт-Петербурга, я как раз успею объяснить тебе про последнюю, восьмую ступень, преодолев которую ученик поднимается из нижнего Жилья во второе, откуда обратно возврата уже не будет. Ты очень близка к тому, чтобы расстаться с землей, по которой ползают непосвященные. Готовься взлететь — уже не телом, как на крыльях *хитоваси*, а духом.

Ката вся подобралась. Приготовилась.

— ...Обычному человеку не дает оторваться от земли одна крепкая цепь, лишаящая его свободы. Прочнее всего она держит в молодости, потом мало-помалу начинает ослабевать и в конце концов, если живешь долго, ржавеет и рассыпается, но к тому времени бывает уже поздно. Эта цепь — притяжение между двумя человеконачалами: мужским, называемым «Ян» или Солнце, и женским, называемым «Инь», или Луна. Как сутки состоят из дня и ночи, так и человечество состоит из мужчин и женщин. Беда в том, что жизненная сила Ки, кроветок души, вся или почти вся расходуется на притяжение между Ян и Инь, а на более важные, *главные* вещи мало что остается. Ведь что такое любовь между мужчиной и женщиной? Христова церковь осуждает плотскую связь, но

страшна не она, страшно соединение двух душ, называемое «любовью». Души, соединенные попарно, подобны пойманным беглецам Лодейщины, которых заставляют работать в «яме», сковав одной цепью. Так не убежишь, на свободу не вырвешься. Восьмая, последняя ступень поможет тебе разрушить эту тюрьму, в которую человек заточает себя добровольно. Более того — я научу тебя превращать эту вредную силу в иную, благую и полезную... Ты сейчас в том возрасте, когда в девочках начинается пробуждаться тяга к Ян и зовет тебя всё требовательнее. Тебе ведь знакомы будоражные ночные сны, смутные дневные мечтания, сладкая тяга в утробе?

Ката, слушавшая во все уши, кивнула.

— Авенир говорил, это бесовское искушение. Когда подступит, надобно хлестать себя плеткой по голой спине, тогда отпускает.

— Глупый совет. В чем главный вред тяги между Инь и Ян? Она вводит в обманное заблуждение, будто женщина и мужчина — разное. Она уменьшает человека, превращая его из Человека в мужчину или в женщину. Но ты, Ката, не женщина. Ты — душа. Ты — весь мир, все мужчины, женщины, животные, горы, моря, небо и солнце. Не уменьшай себя. Влечение к другому телу и другой душе — искушение и испытание, которое должно преодолеть. — Симпэй улыбнулся, будто вспомнил что-то смешное. — Был когда-то искушаем этой химерой и я. Помню, взгляну на какую-нибудь деву с высокой прической *симада-магэ*, в цветном кимоно, и вдруг почувствую такую лютую жажду слияния с нею в одно целое! И она покажется несказанно прекрасной, невозможно желанной. Хочется прижать ее к себе, прислониться к ее коже своей

кожей, стать единым телом и никогда не расщепляться.

— И что же делать, коли такое случилось? — волнуясь, спросила ученица.

— Не подавляй этот могучий зов, не изгоняй его, не бей свое тело плеткой, как взбесившегося коня. Наоборот, распали его еще пуще и запрыгни на него. Однако хороший всадник не скачет туда, куда хочет лошадь. Должно быть наоборот. Оседлай жизненную силу и поверни ее в правильном направлении.

— А как?

— Собери ее в один горячий сгусток, вот так. — Учитель сложил ладонь ковшом. — Поднеси ко рту, вдохнув обжигающий аромат жизни. И медленно, не обжигая губ, выпей. Но следи, чтобы волшебный ток из *хара*, из живота, пошел не вниз, в чресла, а вверх. Сюда.

Он ткнул слушательнице пальцем в лоб.

— Это как сок дерева, поднимающийся от корней по стволу к ветвям и листьям. Как цветок, уводящий всю свою красоту по стеблю в бутон.

Подумав немного, Ката сказала:

— Мне это будет легко. Я некрасивая. Все это говорили — и бабы в Сояле, и князь Василий Васильевич. Меня никто никогда не возжелает.

Дедушка удивился:

— Почему ты так грустно это говоришь? Зачем тебе, чтобы тебя — желали? Разве ты пряник или яблоко? И ты никого желать не должна, только самое себя... Рассказать тебе, как семнадцатилетним послушником я увидел во время храмового праздника знаменитую красавицу по имени Цветок Вишни? Как она, посмотрев на меня, молвила: «Хорошенький монашек, поди-ка сюда, я тебя съем» и что потом из этого вышло?

— Ой, расскажи!

Они ехали ночной дорогой вдоль широкой реки, и Симпэй рассказывал ей историю за историей про то, как сила Инь-Ян преобразовывается в силу духа, а Ката внимательно слушала и запоминала. Эта ступень, наверно, самая важная из всех, думалось ей.

Поспали они перед рассветом прямо в телеге — не ради себя, а ради уставших лошадей, пустили их покормиться травой. Сами утром не завтракали, было нечем, но Симпэй сказал: ничего, зато пообедаем.

Умылись в Неве, тронулись в путь, и скоро впереди завиднелся город — сначала показалось, что он не стоит, а плывет, ибо построен прямо на воде.

— Это не дома, а корабли, — сказал дедушка. — Ради них Петербург и поставлен. — Видишь, какие большие?

Ближе стали видны и дома. Они стояли просторно и странно — в ряд, будто по аршину, и были какие-то неродные. Стены не деревянные, а гладкие, цветные. Крыши мелкаячейные, как на картинке из князевой книги про европейские грады.

— Вон, на острове, фортеция Петра и Павла, — показывал Симпэй. — За нею все приказы и присутствия, там же и государев терем. А по другую сторону, за валом, Адмиралтейский дом. Он в Петербурге главный, там строят и оснащают парусные корабли.

Вертя головой во все стороны, Ката спросила:

— А нам куда?

— Сначала в австерию «Веселый Бахус».

— Обедать?

— Нет, исполнить долг честности. Ведь это не наше, — показал Симпэй на бочки и лошадей. — Хозяин покинул этот мир, но у него, должно быть, осталась семья. Хозяин «Веселого Бахуса» честнее всех прочих питерских кабатчиков. Он вернет повозку и деньги за пиво вдове Филяя. Мы скажем, что купец умер дорогой, а боле ничего говорить не будем.

— Само собой, — кивнула Ката. — Кому такое расскажешь? А потом что?

— Потом к Якову. Он тоже мой ученик, но не такой, как ты. Я не собирался делать из него Хранителя. Поэтому Яша освоил лишь первые четыре ступени. Выше человеку, который не стремится к монашескому служению, подниматься не стоит. А первые четыре ступени пригодятся всякому... Я буду рад повидать Яшу. Он меня тоже, — улыбнулся Симпэй. — А кроме того, он поможет нам попасть на амстердамский корабль.

Пока Учитель был в «Веселом Бахусе», исполняя долг честности, Ката стояла на берегу Невы и во все глаза смотрела на диковинный город. Он был похож на недостроенную галеру, когда остов уже есть и проглядывают будущие очертания, но борта еще не покрашены, мачты не установлены, а земля вокруг в строительном мусоре, и повсюду муравьями копошатся трудники. Та же Лодейщина, только нарядная.

Удивительны были мощенные досками тротуары, уличные лампы на высоких столбах, а более всего прохожие: почти все в немецком платье, быстро-суетливые. Многие и говорили промеж собой не по-нашему.

Из созерцательности Кату вывел Симпэй. Тронул за рукав, сказал:

— Чем Санкт-Петербург столь чужестранен, знаешь?

— Всем, — ответила она. — Будто диковинный сон.

— Молодец, ответила правильно. Царь Петр придумал себе мир, который ему нравится, и заставил в нем поселиться своих подданных. Целую страну! Не удивительно ли, что столько людей согласны жить в не ими придуманном мире, в чужом сне?

Попробуй не согласишься, подумала Ката, но дедушке про это говорить не стала, потому что он разразился бы новым поучением, ей же сейчас хотелось не слушать, а смотреть во все глаза.

Домик, где жил Симпэев ученик, младший толмач именем Яков Иноземцев, тоже собою был не русский, а петербургский. Маленький, чистенький, беленький, с красной черепичной крышей, на переплетных окнах занавески, а удивительней всего Кате показался цветок в горшке. Человек, живущий в таком чудном доме, наверно, и сам чудной.

— Зачем на подоконнице цветок? — спросила она.

— Так делают в его родном городе, в Швеции, чтобы из дома было приятней смотреть на улицу, а с улицы на дом. Яша раньше был швед.

— А стал русским?

Симпэй пожал плечами:

— Он стал собой. Как стала собою ты.

Хозяина дома не было, на двери висел замок, но дедушка пошарил здоровой рукой под ступенькой, вынул ключ.

— Яша об это время в приказе. Но коли не поменял привычек, обедать придет домой... Так и есть — видишь, стол накрыт.

Они вошли в горницу, такую опрятную и обихоженную, что впору хоть великому блюстителю чистоты старцу Авениру. Но нет, старец тут жить не стал бы. Ни одной иконы, даже никонианской, Ката нигде не увидела. Зато на стене земная география, а на потолке нарисована небесная астрономия.

Вокруг было много и другого интересного. Ката постояла у полки с книгами — почти все иностранные. Полюбовалась гравюрным листом «Остров Утопия» (это из сочинения англичанского мудреца Фомы Мора, князь Василий Васильевич его читал). Потрогала пальцем маятник на часах.

Единственной неряхой в комнате была большая растрепанная соломенная кукла, зачем-то стоящая в углу на крепкой подставке.

— Чего это?

— А? — коротко обернулся от стола дедушка. Он поднял белую салфетку и рассматривал, что хозяин оставил себе к обеду. — Это для битья. Я учил Яшу кулачному и ножному бою. Он ведь не монах, ему Канон ненасилия не указ, а в жизни пригодится... Смотри: у него тут хлеб, соленая рыба, огурцы, сливы. Через час вернется Яков — поедим. Ты подожди здесь, а я пока схожу кое-что куплю да разузнаю про амстердамский корабль.

— На что купишь-то? У нас денег нет.

— У Яши есть. Он бережливый. Помоги-ка...

Дедушка подцепил доску на полу, приподнял, дал Кате подержать, а сам нагнулся и вынул из тайника кошель.

Ушел. Она же осталась одна и продолжила осматривать жилище бывшего шведа Яши.

Старый князь Василий Васильевич говаривал: «Как чертог, таков и обитатель, ибо стены — вторая кожа человека». И правда, голицынский терем был точной парсуной хозяина: книжный, старинный, чопорный, светлый.

Иноземцев, если судить по горнице, должен быть прям и ясен душой, чист телом и духом, однако ж непрост — с потаенными уголками. И совсем одинок, пришло в голову Кате. Наверное, сидит здесь, в своем маленьком опрятном доме и сам с собою разговаривает, потому что больше не с кем. Учитель-то от него ушел, отправился на поиски Будды.

Она вдруг представила, что дед Симпэй из ее жизни исчезнет, и стало страшно. Потому что тогда на всем белом свете по-настоящему разговаривать будет не с кем. Тоже начнешь беседовать сама с собою...

На стенной полке лежала длинная узкая шкатулка. Ката открыла, увидела дуду блестящего желтого дерева, с дырками. Поднесла к губам, дунула.

Звук оказался неожиданно глубоким и сильным, от него сжалось сердце. Оказалось, что у дома есть и голос.

Закрыв глаза, Ката попробовала дуть еще — то сильнее, то слабее, прикрывая дырочки пальцами, как это делал сояльский пастух со свирелью.

Дудка заговорила, пытаясь что-то сказать. Что-то важное.

— Ты кто? Вор? — раздался вдруг спокойный голос, выговаривавший слова вроде правильно, но немножко странно. — Ловко ж ты снял замок, не сломавши.

Дернувшись, Ката открыла глаза.

На пороге стоял высокий, тонкий юнош в коричневой треуголке, из-под которой до плеч свисали прямые



желтые волосы. Камзол с кюлотами тоже были коричневыми, шейный платок и чулки — белыми. Но платье Ката толком не рассмотрела, оно было скучное, а вот лицо особенное. Странной для такого молодого парня неподвижности, и на лбу, над приподнятыми словно в вечной задумчивости бровями — ранняя морщина, глаза же синие.

Какой красивый, подумала Ката. Прямо Бова-королевич. Иль Царь-Философ с картинки из Платоновой «Политейи».

Сказать она ничего не сказала, охваченная непонятным оцепенением.

— Чего испугался? — Парень все так же спокойно ее разглядывал. — Я тебя не трону. Если воруеть от голода — ешь.

Он подошел к столу, снял с тарелок салфету. Ката по-прежнему не шевелилась.

— Гобой положи где взял. Он хрупкий. Может, тебе денег надо? Дам.

Иноземцев поднял уже известную ей доску, заглянул в свой подпольный закут, и брови сердито сдвинулись. Лицо ожило, и таким понравилось Кате еще больше.

— Э, да ты уже нашел! Нет, брат, так не пойдет. Верни кошель. Поделиться поделюсь, а всё не отдам. Ну-ка.

Он приблизился, взял ее за локоть. Пальцы были сильные, сдавили крепко. Ката вздрогнула, но не от боли. По руке заструилось тепло, оцепенение спало.

— Кошель взял дедушка. Он скоро вернется.

— Какой дедушка?

Брови раздвинулись, поползли вверх, морщинка стала глубже — Яша удивился, и красивое лицо сделалось еще живее.

— Дедушка Симпэй.

Оказалось, что лицо умеет радостно улыбаться, и тогда будто озаряется солнцем. Этакой красоты Кате было уже чересчур, пришлось опустить глаза.

— Ты с ним? Ты его новый ученик?

Она кивнула, и тут Яша обнял ее, прижал к себе. Ката ахнула, и, коли бы он не держал ее за плечи, наверное, бухнулась бы на пол — так вдруг ослабели колени.

Отодвинулся, но все равно остался совсем близко, глаза в глаза.

— У тебя на лбу знак, как у него! Только не черный, а коричневый, — сказал Царь-Философ. — Я просил мне сделать такой же, а он отказал. Говорит, знак по-

ложен только Хранителям. Он принял тебя в Хранители, да?

Сказано было с почтением и, пожалуй, завистью.

— Учит... — Голос у Каты пресекся, она кашлянула и повторила громче: — Учит.

— На какой ты ступени?

— На восьмой.

— Быстро... Я за три года дошел только до четвертой. У тебя, верно, дар. Понятно, отчего Учитель стал готовить тебя в Хранители...

Юнош разжал пальцы, смущенно отступил.

— И то. Поглядеть на тебя и на меня. Ты молчишь, отвечаешь только когда спрашивают, скупое. А я сучусь, языком болтаю... Ты не думай, так-то я не болтлив. Просто соскучился. С тех пор, как ушел Учитель, ни с кем толком не разговаривал, только на службе, а там какие разговоры? — Махнул рукой. — Тебя как звать? Меня — Яковом.

— Я знаю, — ответила она, а имени своего называть не стала.

Он же не переспросил, ему не терпелось поговорить про важное — видно, накопилось за время одиночества.

— Вот скажи, как жить человеку, если он все время среди множества людей, а разговаривать ему не с кем? О всякой ерунде можно, а о важном — не с кем. И ты понимаешь, что так будет всегда, до самой смерти!

— Это седьмая ступень. Нужно научиться беседовать о важном с собой, — стала объяснять она науку своими словами. — Задаешь себе вопрос про нужное — жди ответа. Он придет. А если тебе скучно, противно глядеть вокруг — глядишь внутрь себя, и там полная

твоя воля. Хочешь, чтоб было красиво — придумываешь. Хочешь, чтоб было увлекательно — тож. И живи истинной жизнью внутри себя, как в хорошем доме, со своим убранством, а наружу гляди через окошко, кому ни попадя дверь не открывай.

— В своем доме, со своим убранством... — медленно повторил Яков. — Это обдумать надо. Общупать... Седьмая ступень, да? Ох, высокая...

А Ката сейчас сражалась с восьмой ступенью, да всё не могла на нее вскарабкаться, срывалась.

Тягу к солнечной силе Ян она, как велел Учитель, собрала в ком — это-то получилось легко. Он шевелился где-то под ложечкой, где рождаются вздохи. Но стала пихать огненную силу вверх, к разуму, а она не поддается. Сползает ниже, ниже. Потому что тяжелая и горячая.

Еще ужасно мешало, что он так близко. Протянуть бы руку, потрогать золотистую прядь. Или погладить по щеке. Когда он улыбается, там появляется ямочка. Вот бы...

Ох, не туда, не в ту сторону двигалась жизненная сила!

Ката закрыла глаза, чтоб было легче.

— Мы теперь будем жить вместе? — услышала она. — Втроем?

— Нет! Мы с дедушкой уплывем в Голландию. А потом в Японию.

Уедем — тогда и слажу с восьмой ступенью, сказала себе Ката. Дотерпеть надо. Вдали от этих синих глаз оно проще будет.

— Неужто нашли?! — прошептал Яков, и проклятые глазищи, расширившись, стали еще невыносимей.

— Вот он.

Ката вытянула из ворота нитку, показала оберег.

И случилось чудо. Когда пальцы коснулись Будды, огонь, опустившийся совсем вниз, дрогнул, замер и медленно, словно неохотно двинулся в обратном направлении: через живот к груди, потом к шее.

— Можно потрогать? — таким же благоговейным шепотом попросил Яша.

Поднял руку, осторожно взял реликвию, и в этот миг совсем чуть-чуть, на одно лишь мгновение, коснулся Катиной шеи.

И — бум! — жизненная сила упала обратно в чресла. Как яблоко с ветки.

Ката чуть не всхлипнула от досады на свою постыдную слабость. Оттолкнула ни в чем не повинного Якова, отвернулась.

— Нельзя, да? — переполошился тот. — Прости!

Оба замолчали. Он испуганно, она сокрушенно.

Такими — безмолвствующими и растерянными — их и застал Симпэй.

Он преобразился. Был в европейском платье, под мышкой сверток. Больная рука, обмотанная толстым сукном, висела на перевязи.

Учитель с учеником не обнялись, как это сделали бы обычные русские люди после долгой разлуки, а поклонились друг другу: первый слегка, второй низко.

Когда Яков распрямился, в глазах у него блестели слезы. Засмутившись слабости, юнош смахнул их.

— Ты нашел то, что искал, Учитель. Я рад. Надеюсь, вы покинете меня не очень скоро. Мне нужно о стольком с тобой поговорить!

— Поговорим, — благодушно отвечал Симпэй. — Весь вечер и вся ночь впереди. А завтра мы с Катой уплывем.

— Уже завтра?! — воскликнули Яков и Ката в один голос.

— Да. Теперь, после Гангутской виктории, шведы уже не властвуют на Балтике, ныне корабли ходят часто. Девочка, переоденься. Я купил тебе женское платье.

— Девочка? — пролепетал Яша, повернувшись. — Почему ты мне не сказал...ла?

— А ты не спрашивал, — грубо ответила она. — Дошел бы до восьмой ступени, узнал бы, что это все равно — кто парень, кто девка.

— Симпэй меня этому не учил, — пробормотал Яков.

— Оно и видно... А пошто в женское? Мне же в юнги поступать? — спросила Ката у дедушки, вовсе отвернувшись от Бовы-королевича, который на нее обиделся за обман и никогда больше ласково не взглянет, не обнимет. Вот и ладно, вот и хорошо!

— Меня с такой рукой в команду не возьмут. Значит, и тебе незачем. Придется в Амстердаме устраиваться по-другому. Наймусь в Компанию толмачом, у них там никто по-японски не знает. А ты будешь моя служанка или еще кто-нибудь. Как-то сладится, — беспечно сказал Симпэй. — Придет *сатори*. Оно всегда приходит.

Взяв сверток, Ката пошла за дверь, где была еще одна комнатка, вовсе крошечная, вроде чуланчика, но с зеркалом.

«Ишь ты, любит на свою пригожесть пялиться», — зло подумала Ката про хозяина дома и тут же укори-

ла себя. Просто он опрятный и следит за чистотой платья.

«А ты чучело», — сказала она себе, повернувшись в немецком женском наряде так и этак. Платье было синее в белый горох, ситцевое. Запущенные свои лохмы Ката прикрыла чепцом, но красы от того не прибавило.

Вот ведь доля бабская, несчастная! В мужском платье была парень как парень, а в женском стала уродкой.

Но делать нечего, надо было выходить обратно. Закусила губу, набрала полную грудь воздуха (грудь от этого несильно прибавилось). Толкнула дверь.

Зря только сама себя покусала — дедушка в горнице был один.

— Яша пошел в сени за щепками, разжечь огонь для кофия... — Симпэй нахмурился. — Почему ты с ним груба? Он тебе не понравился?

— Очень понравился! — со слезами воскликнула она. — Очень! В том и беда! Учитель, у меня не получается поднять жизненную тягу вверх! У него такие синие глаза! Такая белая кожа! Ничего б не пожалела, только б ее погладить!

И Ката разрыдалась, самым стыдным и жалким образом.

Симпэй погладил ее по плечу.

— Не вини себя. Твои чувства естественны. В шестнадцать лет восьмая ступень дается с трудом. Но есть одно хорошее упражнение, которое тебе поможет. Научить?

— Да! — всхлипнула Ката. — Пожалуйста!

— Сейчас Яша вернется, и ты не отводи от него глаза, а, наоборот, смотри очень внимательно. Так внимательно, чтобы видеть сквозь кожу, которая тебе столь нравится. Сними с него кожу.



— Как это?

— В воображении. Ты же видела, как выглядит туша в мясной лавке? Яша под кожей точно такой же. Вот и представь. Потом раздвинь мышцы у него на животе. Увидишь кишки. Ничего красивого в плоти нет. Плоть — это мясо, кости, требуха. Вожделеть там не по чему.

Учитель пожал плечами.

Ката укрепила свой раскисший дух, изготовилась к мясницкой работе.

Мысленно разделать Яшу оказалось проще, чем она думала, потому что, рубя щепу, юнош снял кам-

зол, засучил рукава и расстегнул рубаху сверху донизу, так что стало видно выпуклую грудь и поджарый живот.

Грудь от кожи избавилась легко — просто из белой стала красной. Ката раздвинула пурпурные мышцы. Под ними двигалось серебристое сердце — так ровно и сильно, что залюбуешься.

В смятении Ката взглянула на Учителя и замотала головой. Упражнение не работает!

Он успокаивающе кивнул, показал глазами ниже: давай, мол, потроши ему брюхо.

Но ниже, на живот Ката смотреть побоялась. Не вышло бы хуже. Вон, инь-яновский огонь изнутри обжигает...

Жизненная сила, чтоб ей провалиться, так и осталась трепыхаться внизу. Даже есть расхотелось.

Мужчины-то ели, а Ката только отщипнула кусочек хлеба.

— Канцелярская бумага, что я тогда из приказа принес, у тебя осталась? — спросил Симпэй, поднимаясь и утирая губы. — Пойду напишу пашпорта на... — Он немного подумал. — ...На государева японского человека Артемия Буданова, следующего в Амстердам по казенному делу... И на голландскую девку Катарину Крюйткамер, возвращающуюся на родину.

Смешная фамилья, не выговоришь, подумала Ката, но смешно ей не было.

Дедушка сел в сторонке, у подоконника, на котором стояла чернильница. Пошелестел там бумагой, заскрипел пером.

— Я и не знал, что на свете бывают такие девы, — сказал тихий голос.

Лишь тогда она посмотрела Яше в лицо, исподлобья. Раньше не решалась — боялась прочесть в его взгляде отвращение ее девичьим уродством.

Чем это так светятся его глаза? Точно не отвращением. А чем тогда?

— Беда мне, — вздохнул Яша. — Теперь никогда не женюсь. Буду всех с тобою сравнивать. Так, видно, бобылем и проживу... А ты поплывешь по морям, океанам, на другую сторону света. Увидишь всякое предивное и прекрасное. Станешь Хранительницей Орехового Будды. Будешь подниматься из одного Жилья в другое, всё выше и выше. А я навечно, до смерти, буду тебя вспоминать. И придумывать другую жизнь, в которой мы вместе и неразлучны...

Прекрасное его лицо вдруг стало расплываться, будто Ката смотрела через слюдяные оконца.

Очень быстро она опустила голову, смахнула слезинки, а ответить ничего не ответила. Голоса не было.

К столу вернулся Симпэй, помахивая двумя листами, чтоб скорей высохли чернила.

— Ступай в приказ к канцеляристу Букину. Он по-прежнему там?

— Куда он денется?

— И мзду берет?

— Как дышит.

— Поклонишься рублишком, пусть приложит печати.

Яков бумаги взял, но не уходил.

— Возьмите меня с собой! — У него в глазах, оказывается, тоже стояли слезы. И голос дрожал. — Не оставляйте! Теперь мне здесь еще тяжелее будет!

Дедушка строго ответил:

— Иногда велико искушение стать частью другой жизни, которая зовет тебя и манит, но это химера. Помнишь, я учил тебя: у каждого свой Путь. Не сворачивай с него.

Понурый, Яша вышел.

Оставшись вдвоем, они помолчали.

— Что это ты шевелишь губами? — спросил Учитель.

Ученица ответила:

— Вспоминаю вирши, которые любил читать князь Василий Васильевич, когда плакал по своей царевне. Старинный юдейский пиит Галевий сочинил. Давным-давно.

— Что за вирши?

Как боязно сие — любить того,
Кого отнимет смерть однажды.
Как боязно любить, надеяться, мечтать,
Владеть — и после потерять.
Се суть удел глупца, глупца удел...

Учитель нахмурился:

— К чему ты это?

— К тому, что я дура. И мудрой, как ты, не стану. Мне не подняться на восьмую ступень, не перейти в верхнее Жилье. Да я и не хочу. Останусь в нижнем.

Ката сняла с себя оберег.

— Бери, вези в Храм. Ты ведь этого хотел с самого начала, да? Затем меня сюда, к Яше, и привел? Бери, отдаю сама... И спасибо тебе. За всё. А за это — особенно. Плыви. Я остаюсь.

Но Симпэй не торопился принять сокровище.

— Это твой мир. Тебе решать, каким он будет. Широкое лучше узкого. Высокое лучше низкого. Подумай.

— Уже подумала. Опустил голову и расстегнул ворот. Я повешу Будду тебе на шею.

Он попробовал расстегнуть застёжку на высоком, по горло, камзоле, но не получилось.

— Надо привыкнуть обходиться одной рукой. Раньше на мне всё заживало, как на собаке, но я постарел. Кость будет срастаться долго. Восемьдесят два года — много даже для человека правильной жизни...

— Сколько-сколько?! — ахнула Ката.

Она, конечно, знала, что он сильно немолодой, но думала, ему за пятьдесят, как Авениру. А он старше старого князь-Василия!

— Нет, дедушка, — твердо сказала Ката. — Одного, да с такой рукой я тебя на другой край света не пущу. С тобой поплыву. И Яша с нами. Ни тебя не брошу, ни его... Ты не думай, Будду я назад не заберу. Он твой. Просто мы с Яшей будем рядом.

Никогда еще простое и короткое слово «мы» не звучало на языке так сладко. Ката мысленно еще раз повторила: «Мы. Мы с Яшей».

— Ты говоришь про старость, будто это какая-то болезнь, — укорил ее Симпэй. — Но старость — это просто время жизни. Как бывают времена года. Все они хороши по-своему. Скажу тебе то же, что сказал Якову: не иди с другим по его Пути. А за меня не бойся. Моя сила не в руках.

Слова были окончательные, Ката это поняла и больше не спорила, только заплакала.

— Не выдумывай себе грустных снов, выдумывай радостные, — погрозил пальцем Учитель.

— Знаю-знаю, — шмыгнула она носом. — Я тебя придумала. Ты на самом деле не существуешь. Но я тебя, придуманного, очень люблю. И мне тяжело думать, что мы никогда-никогда больше не увидимся.

— Кто ж это знает? — удивился Симпэй. — Не забывай: я убил человека, а стало быть, превращаться в звезду мне пока рано. Я буду жить снова. И может быть, еще не раз. Как и ты. И если наши души очень захотят, мы встретимся снова. Тебя будут звать иначе, меня тоже, и все же это будем мы с тобой, и мы как-то почувствуем друг друга. И продолжим наши уроки. Хорошо?



Часть первая ПОТЕРЯТЬ

Марта «Пороховой Погреб». Амстердам. 1698 г.	7
Немая Марфа. Москва. 7206 г.	36
Толмач Буданов. Санкт-Петербург. Третий год эры Праведной Добродетели	64
Ката. Пинега. 7222 г.	83

Часть вторая НАЙТИ

Ступень первая. Сояла	107
Ступень вторая. Свято-Троица	137
Ступень третья. Сийский лес	171
Ступень четвертая. Плесцы	190
Ступень пятая. Каргополь	209
Ступень шестая. Лодейщина	228
Ступень седьмая. Шлиссельбург	256
Хамамат Синэяро	277
Ступень последняя. Санкт-Петербург	296

Литературно-художественное издание
эфеби-көркем басылым

История Российского государства

Борис Акунин
ОРЕХОВЫЙ БУДДА

Роман



Редакционно-издательская группа
«Жанровая литература»

Зав. группой *М.С. Сергеева*
Ответственный редактор *Т.Н. Захарова*
Компьютерная верстка *С.Б. Клещев*

Подписано в печать 10.12.2019 г. Формат 84×108 1/32.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Петербург.
Усл. печ. л. 16,8. Доп. тираж 4000 экз. Заказ № 12604.

ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21,
строение 1, комн. 705, пом. 1, 7 этаж

Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: zhanry@ast.ru

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2020 г.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008): — 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Маскеу, Жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 кұрылым, 705 бөлме, пом. 1, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: zhanry@ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий в
Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.

Қазақстан Республикасына импорттаушы және
Қазақстан Республикасында наразылықтарды қабылдау
бойынша өкіл - «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы
к.Домбровский көш., 3«а», Б.Іштері офисі 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91,
факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz Tayar belgici: «ACT»
Өндірілген жылы: 2020

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



*«Всему, что он знал и умел,
юношу обучили в храме Коосиндзи,
принадлежащем к великой школе Мансэй,
которая единственная из всех течений буддизма
учит человека жить без страхов и самоослеплений.
Учит Истине».*

Повесть «Ореховый Будда»
описывает приключения священной статуэтки,
которая по воле случая совершила длинное
путешествие из далекой Японии в не менее
далекую Московию. Будда странствует
по взбудораженной петровскими потрясениями
Руси, освещая души светом сатори
и помогая путникам найти
дорогу к себе...

ISBN 978-5-17-118287-8



9 785171 182878 >



www.ast.ru